

# РОМЕН ГАРИ

Пляска Чингиз-Хаима

ROMAIN GARY

La Danse de Gengis Cohn

im WERDEN VERLAG  
DALLAS AUGSBURG 2003

Ромен Гари  
*Пляска Чингиз-Хаима*

Romain Gary  
*La Danse de Gengis Cohn*

The book may not be copied in whole or in part.  
Commercial use of the book is strictly prohibited.  
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Издательство Симпозиум, 2000  
©Л. Цывьян, перевод с французского, 2000  
©«Im Werden Verlag», 2003  
<http://www.imwerden.de>  
[info@imwerden.de](mailto:info@imwerden.de)

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon [books@tumana.net](mailto:books@tumana.net)  
Generated by L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>

часть первая  
ДИББУК

## 1. Позвольте представиться

Здесь я у себя. Я часть этих мест и этого воздуха, которым так легко дышится, но это могут понять лишь те, кто здесь родился или полностью ассимилировался. Некоторое непристствие, которое бросается в глаза, меня ничуть не смущает. Оно, по мере того как дает себя знать, становится подлинным присутствием. Да, конечно, что-то стирается, привыкаешь, обживаешься; испарения, дым не навечно же темнят небосвод. Лазурь на миг оевреилась, но пролетел легкий ветерок, и все, никаких признаков. Всякий раз, когда я вот так отдыхаю, лежу на спине и покручиваю большими пальцами – излюбленное движение вечности, – меня потрясает незапятнанная красота небосвода. Я очень чувствителен к красоте и совершенству. Эта лучезарная синева наводит меня на мысли о мадонне с фресок, о принцессе из легенды. Да, это великое искусство.

Меня зовут Хаим, Чингиз-Хаим. Само собой, Чингиз – это псевдоним, настоящее мое имя – Мойша, но Чингиз больше подходит к тому жанру, в каком я работал. Я – комик и когда-то был очень известен в еврейских кабаре – сперва в «Шварце Шиксе» в Берлине, потом в варшавском «Мотке Ганеф», а под конец в Аушвице, то есть Освенциме. Критики к моему юмору относились достаточно сдержанно: они находили, что я перебарщиваю, что я излишне агрессивен, жесток. Советовали мне быть чуть мягче. Может, они и были правы. Однажды в Аушвице я рассказал другому заключенному такую забавную историю, что тот помер от смеха. Можете не сомневаться, то был единственный еврей, умерший в Аушвице от смеха.

Сам-то я не остался в этом прославленном лагере. В декабре 1943 г. мне, слава Богу, чудом удалось бежать. Но через несколько месяцев я попался подразделению СС под командованием *хауптюденфрессера*\* Шатца, которого я по-дружески зову Шатцхен; это уменьшительно-ласкательное словечко, по-немецки означает «маленькое сокровище». Сейчас мой друг – комиссар полиции первого класса здесь, в Лихте. Поэтому я и оказался в Лихте. Благодаря Шатцхену я натурализовался и являюсь почетным гражданином Лихта.

Природа тут, надо сказать, прекрасная, я мог бы влипнуть гораздо хуже. Рощи, ручейки, долины, *und ruhig fließt der Rhein, die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar, ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kammt ihr goldnes Haar...*\*\* Люблю поэзию.

С того прекрасного апрельского дня 1944 г. мы с Шатцхеном неразлучны. Шатц приютил меня, вот уже скоро двадцать два года как он скрывает у себя еврея. Я пытаюсь не слишком злоупотреблять его гостеприимством, стараюсь занимать поменьше места, не очень часто будить его среди ночи. Нас и без того вечно упрекают за бесцеремонность, и я стараюсь доказать, что знаю правила приличия. Я всегда оставляю его одного в ванной, ну а когда у него случается галантная встреча, делаю все, чтобы не явиться некстати. Если уж мы обречены жить вместе, такт и корректность – первое дело. И тут я подумал, что я уже с полчаса как его оставил. Правда, сейчас он обременен своими служебными обязанностями – из-за этих таинственных убийств, что с недавних пор наводят ужас на всю округу: дня не проходит, чтобы от рук убийцы не пала новая жертва, однако это не повод оставлять друга в одиночестве. Сейчас я с ним воссоединюсь – это я так выражаюсь – в Главном комиссариате полиции на Гётештрассе, 12. Но проявлюсь я не сразу. Я люблю подготовить свой выход, как говорят артисты,

\*Пародия на названия чинов в войсках СС, букв. означает: главный пожиратель евреев. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

\*\*И Рейна тих простор, над страшной высотой девушка дивной красоты одеждой горит золотом, играет златом косы (нем.) – цитата из стихотворения Г. Гейне, перевод А. Блока.

– привычка старого лицедея. На улице толпа журналистов, но меня не замечают: я утратил актуальность, публика уже обьяелась, у нее в ушах навязли все эти истории, и она просто не желает о них слышать. А молодежь, так та откровенно издевается надо мной, точь-в-точь как в сороковом году. Старые бойцы с их бесконечным гудением о былых своих подвигах ей осточертели. Молодые насмешливо именуют нас «папскими евреями». Им подавай новенькое.

Так что я проскользнул в здание и занял обычное место рядом со своим другом. Я наблюдаю за ним, скромно укрывшись в тени. Шатц переутомлен. Три ночи комиссар ни на минуту не сомкнул глаз, а он далеко не молод, к тому же много пьет; я должен о нем позаботиться. Стоит случиться сердечному приступу, и я утрачу человека, который уже столько лет дает мне приют. Даже не представляю, что будет со мной без него.

Кабинет очень чистый, у моего друга просто мания чистоты. Он все время моет руки – это нервное. Он даже велел установить раковину под официальным портретом президента Любке. Каждые десять минут вскакивает и совершает омовение. Пользуется он при этом специальным порошком. Мылом – ни в коем случае. К мылу у Шатцхена настоящая фобия. Никогда не известно, кем ты моешь руки, говорит он.

Секретарь Шатцхена сидит за небольшим столом в глубине. Его фамилия Хюбш. Жалкий и унылый писаришка, его редкие волосики смахивают на парик. Подслеповатые глазки смотрят на мир сквозь пенсне времен «Симплициссимус»\*, Пруссии и имперской бюрократии. Ему около тридцати, и знать меня он не мог. Это совсем другой Хюбш, но вроде этого, заполнил мое последнее удостоверение личности: свидетельство о смерти *на форменном бланке*. «Мойша Хаим, именуемый *Чингиз-Хаим*. Еврей. *Профессия*: Еврей. *Год рождения*: 1912. *Год смерти*: 1944», Так что мне тридцать два года. Для того, кто родился в 1912 г., иметь в 1966-м тридцать два года – это своего рода рекорд. Тут еще одно совпадение: я думаю о возрасте Христа. Между прочим, я часто думаю о Христе: мне нравится молодежь.

Инспектор Гут, специализирующийся по борьбе с преступлениями против нравственности, беседует с комиссаром. Я не очень слушаю, что он говорит, но в общем, кажется, понял: две важные особы, весьма и весьма влиятельные и в нашей земле, и в партии христианских демократов, просят срочно принять их. Шатцхен знать ничего не желает. Я чувствую: он весь напряжен, измотан, взвинчен. Уже какое-то время он на грани нервного срыва. Он стареет, и с каждым годом надежда освободиться и избавиться от меня тает прямо на глазах. Он начинает подозревать, что нас ничто не разлучит. По ночам он не спит, и мне, с моей желтой звездой, приходится сидеть на его кровати и нежно смотреть ему в глаза. Чем сильнее он устает, тем неотвязней мое присутствие. Но я тут ничего не могу поделать, у меня это историческая наследственность. К легенде о Вечном жиде я добавил неожиданное продолжение: о Жиде имманентном, вездесущем, невыявленном, ассимилировавшемся, перемешавшемся с каждым атомом немецкого воздуха и немецкой земли. Я вам уже говорил: они натурализовали меня, предоставили мне гражданство. Мне не хватает только крылышек и розовой попки, чтобы стать ангелочком. Впрочем, вы же знаете, что произносят в *биренштубах* в окрестностях Бухенвальда, когда во время разговора внезапно воцаряется тишина: «*Еврей прошел*».

Но довольно бездельничать. Мой друг комиссар Шатц категорически отказывается принять «влиятельных персон», которые ждут на улице. Он ничего не желает слышать.

– Я же вам сказал: никого. Я никого не желаю видеть.

Никого? Я чувствую себя немножко уязвленным, но еще не вечер.

– Мне нужно сосредоточиться.

---

\*«Симплициссимус» (лат. простодушнейший) – немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник, издававшийся в 1896-1942 гг., особой популярностью пользовался до Первой мировой войны.

На столе бутылка шнапса. Шатц наливает стопку и заглатывает. Он ужасно много пьет. Я это очень не одобряю.

– Барон фон Привец – один из самых могущественных людей в стране, – говорит Гут. – Ему принадлежит половина Рура.

– Плевать.

И Шатц опять опрокинул стопку. Я начинаю беспокоиться: этот прохвост пытается от меня избавиться.

– А что с журналистами? Они ждали всю ночь.

– Пусть пойдут и повесятся. Сперва они обвиняют полицию в бессилии, а когда мы засадили того пастуха – ну, который обнаружил последний труп, – они принимаются вопить, что мы, дескать, ищем козла отпущения. Новое что-нибудь есть?

Гут разочарованно разводит руками. Люблю этот жест у представителей власти. Когда полиция признает свою беспомощность, я испытываю ликование: надежда еще не пропала. Мне вдруг страшно захотелось пожевать рахат-лукума. Попрошу сейчас Шатцхена принести коробочку. Он никогда не отказывает мне в маленьких удовольствиях. Он очень любит делать мне небольшие подарки, надеясь задобрить меня. Как-то раз произошел просто страшно забавный случай. Был как раз праздник *Хануки*, и Шатц, который наизусть знает все наши праздники, приготовил для меня несколько самых любимых моих *кошерных* блюд. Он поставил их на поднос вместе с букетиком фиалок в вазочке и, стоя на коленях, протягивал мне поднос: я требовал, чтобы именно так он поступал в канун *Шабеса* и в дни наших праздников. Это наш, так сказать, дружеский протокол, он установился давным-давно, и Шатцхен аккуратно исполняет его. И вот представьте, в этот момент входит его квартирная хозяйка фрау Мюллер и видит, что комиссар полиции Шатц, стоя на коленях, смиренно предлагает блюдо с *чолнтом* и *гефилте* фиш еврею, которого нет; это так ее испугало, что ей стало дурно. После этого она старательно обходила Шатца стороной и всем рассказывала, что комиссар полиции тронулся в уме. Само собой, наши немножко особенные отношения никто не понимает. Поскольку мы с ним неразлучны, мы образуем свой тесный мирок, проникнуть в который непосвященному очень трудно; у Шатца ко мне, я бы так выразился, сентиментальная привязанность, хотя на ее счет я иллюзий не строю. Мне известно, что он регулярно ходит к психиатру, пытаюсь избавиться от меня. Он-то воображает, будто я пребываю в неведении. Чтобы наказать его, я придумал довольно забавную штуку. Называется «звуковой эффект». Вместо того чтобы молча сидеть перед ним – с желтой звездой и лицом, обсыпанным известкой, – я устраиваю шум. Я делаю так, что он слышит голоса. Главным образом, голоса матерей, они особенно действуют на него. Нас было человек сорок, мы все находились в яме, которую сами выкопали, и, конечно, там были матери с детьми. Вот я и воспроизвожу для него с потрясающим реализмом – в искусстве я за реализм – вопли еврейских матерей за секунду до автоматных очередей, то есть когда они наконец-таки поняли, что их детей тоже не пощадят. В такие моменты мать-еврейка способна выдать тысячи децибеллов. Надо видеть, как мой друг вскакивает на постели – лицо белое как мел, глаза выпучены. Шум он ненавидит. Физиономия у него при этом просто жуткая.

Я не пожелал бы такой физиономии своим лучшим друзьям.

– Новое что-нибудь есть?

– Ничего, – отвечает Гут. – После сельского полицейского ничего. Судебно-медицинский эксперт считает, что он был убит раньше, чем ветеринар. Все то же самое: удар в сердце сзади, со спины. Я удвоил патрули.

– Надо будет попросить подкреплений из Ланца.

Мой друг вытирает лоб. Эта волна убийств – серьезный удар по нему. На карту поставлена

его карьера. Если ему удастся арестовать преступника, он, несомненно, получит повышение. Ну а если нет, то – учитывая шумиху, поднятую прессой, – встает угроза досрочной отставки.

Гут намерен утешить шефа. Пытается обратить его внимание на то, что тут есть и приятная сторона:

– В любом случае это преступление века.

Шатц смотрит на него блеклыми глазками:

– Так всегда говорят.

Он прав. Гут малость переборщил. Это – преступление века? А что же тогда я?

– Так что мне сказать журналистам? – интересуется Гут. – Надо им что-то кинуть, а то они нас разнесут в клочки. Полиция бездействует... Власти спят...

– Да черт с ними, я привык, – бурчит Шатц. – Каждый раз, когда происходит какое-нибудь чудовищное преступление, виновата оказывается полиция. В первый раз, что ли... Вы изучили новые отпечатки?

– Те же самые. Мы сравнили их с отпечатками всех известных нам садистов, психов, сексуальных маньяков – никакого результата.

– Вот то-то и оно-то... Никаких улик, никаких мотивов и... двадцать два трупа! А можете вы мне сказать, отчего у всех жертв на лице такое восхищение, будто это самое лучшее, что случилось с ними в их сучьей жизни? Я ничего не понимаю! Ничегошеньки! Рожи просто сияют! Вы видели ветеринара? На морде такое блаженство, будто он на седьмом небе. В конце концов, это раздражает.

– Согласен, это вообще-то тревожно, – кивает Гут. – Да еще при такой жаре...

Да, стоит жара. Правда, в нынешнем моем состоянии – как бы это половчее выразиться? – определенного отсутствия физических характеристик – мы, евреи, всегда тяготели к абстракции – я абсолютно нечувствителен к температуре. Но после этой волны убийств в лесу Гайст\* я ощущаю нечто не совсем обычное. Какое-то покальвание. Трепетание. Ласка. В воздухе чувствуется странное возбуждение, некая мягкая, жаркая и отзывчивая женственность. Даже свет кажется немножко чище, каким-то чуть-чуть ирреальным, ощущение, словно он тут только для того, чтобы окружить кого-то неведомого ореолом. Это не тот привычный природный свет, тут чувствуется человеческая рука, человеческий гений. Ловишь себя на том, что думаешь о Рафаэле, о сокровищах Флоренции, о магии Челлини и о наших божественных гобеленах, обо всех шедеврах, которые стольким обязаны искусству и так малым реальности. Впечатление, будто вокруг готовится своего рода апофеоз воображаемого и что очень скоро на этой земле не останется и следа постыдного, нечистого, несовершенного. *Мазлтов*, как говорят на идише, когда хотят сказать: мои поздравления. А если говорить обо мне, я всегда был за Джоконду.

– Сколько служу в полиции, никогда не видел таких счастливых трупов, – говорит Шатц.

– На лицах райское блаженство. Иначе просто не скажешь. И тут возникает вопрос, и я думаю, в нем ключ к решению проблемы. Что видели эти сукины дети? Потому что им, перед тем как прикончить, показали что-то такой красоты... такой красоты...

Я обратил внимание, что писарь Хюбш проявляет все признаки возбуждения. Похоже, слово «красота» оказывает на него самое благотворное воздействие. Должно быть, несмотря на свой занюханый, нафталиновый вид, он – натура мечтательная, нежная. Он явно взволнован. Брови его поднялись домиком над пенсне, отчего физиономия стала точь-в-точь как морда взгрустнувшего дога. Не ожидал я, что у этой канцелярской крысы могут быть какие-то безотчетные стремления.

---

\*Geist – дух (нем.).

– Во всех случаях никаких следов борьбы, – заметил Гут.

– То-то и оно. Можно подумать, что они сами просили пришить их. Рожи у всех просто сияющие. . . Что могли им показать, чтобы довести до такого состояния блаженства?

Хюбш привстал со стула и, подняв перо, завороченно уставился куда-то в пространство. Его кадык несколько раз судорожно дернулся над пристежным воротничком. Он сглатывает слюну. У него дрожит голова. Этот юноша меня таки очень беспокоит.

– Что на земле может быть такого прекрасного, чтобы, увидев это, люди шли на смерть с праздничным видом? Хюбш, по-вашему, что это? Друг мой, вы очень взволнованы. У вас есть какие-то соображения?

Хюбш опускается на стул, вытирает перо о волосы и утыкается носом в бумаги. Чего-то скребет перышком. Уверен на все сто, он еще ни разу не знал женщины.

– Химические анализы провели? Возможно, их напичкали наркотиками. Сейчас появились новые галлюциногены, например, ЛСД, мексиканские грибы, которые вызывают, говорят, волшебные видения. Это бы все объяснило.

Но Гут развеивает надежды комиссара.

– Никаких следов наркотиков, – говорит он.

– Но есть ведь такие, которые не поддаются анализу, сами знаете. . . Кажется, будто видишь Бога. . . всякие такие штучки. . .

– Не думаю, чтобы Бог имел к этому какое-то отношение.

– В любом случае убиты все они были в состоянии полнейшего экстаза, – мрачно отмечает Шатц. – Что-то в этом есть мистическое. Ритуальные убийства?

– Ну, вы хватили. Мы все-таки не у ацтеков. Человеческие жертвоприношения в Германии. . . Вы шутите. . .

И тут Шатц выдает фразу просто немислимую, невероятную, особенно в устах друга.

– По своему опыту, – торжественно возвещает он, – могу сказать одно: впервые некто совершает массовое убийство без всяких мотивов, без всякой видимой причины.

Ну, хватит. Подобную *хуцпе* нельзя оставлять без ответа. Едва я услышал, что, по его опыту, это впервые в Германии кто-то устраивает массовые убийства без видимой причины, я почувствовал себя уязвленным. И я проявился. Я встал перед комиссаром, руки за спиной. Должен с гордостью признаться, на него это произвело впечатление. На мне длинное черное пальто, под ним полосатая лагерная куртка, на пальто слева, как положено, желтая звезда. Я знаю, лицо у меня бледное – попробуйте быть смельчаком, когда на вас нацелены автоматы, да и команда «Feuer!» тоже производит неизгладимое впечатление, – весь я с головы до пят в известке: лицо, волосы, пальто, короче, все. Чтобы символически наказать нас, нам приказали выкопать себе яму в развалинах дома, разбомбленного авиацией союзников, и потом некоторое время мы всем скопом оставались там. Именно там Шатц, сам о том не ведая, и подцепил меня; не знаю, что стало с остальными, кто из немцев приютил их в себе. Волосы у меня встали дыбом, как и у Харпо Маркса, каждый волосок отдельно; поднялись они от ужаса да так и остались навечно, словно бы для создания художественного эффекта. Правда, причина этого не только страх, но и шум. Я не выношу шума, а все эти еврейские матери с младенцами на руках подняли жуткий вой. Не хочу выглядеть антисемитом, но никто так не воет, как еврейская мать, когда убивают ее детей. А у меня с собой не было даже воска, чтобы заткнуть уши, я оказался совершенно беззащитен.

## 2. Мертвый хватает живого

Увидев меня, мой друг Шатц замер. У меня, знаете ли, есть чувство, когда что нужно; я безошибочно умею выбрать время, чтобы выдать хохму, то есть остроту, или выкинуть что-нибудь смешное. Секундой раньше или позже – и смеха можете не ждать. Так что могу вас заверить, с выходом я попал в самую точку. В тот самый момент, когда мой друг кончил произносить «по своему опыту» *et cetera*, я, пританцовывая, появился из-за кулис и с ласковой улыбкой на устах принялся кончиками пальцев стряхивать пыль с моей желтой звезды. В «Шварце Шиксе» я всегда выходил пританцовывая под аккомпанемент еврейской скрипочки. Эффект и на этот раз был отменный. Комиссар окаменел, на лице его появился страх, он уставился на меня. Да чего уж там, *он заговорила со мной*. Да-да, чуточку охрипшим голосом он обратился лично ко мне. Чтобы говорить со мною при свидетелях – такое с ним случилось впервые. До сих пор наши отношения были сугубо личными, конфиденциальными, и ни один непосвященный даже подозревать не мог, какое сокровище таит в себе комиссар Шатц.

– Это совсем другое, – забормотал он. – Не может быть никакого сравнения. Тогда была война. Идеологии. . . И потом, нам приказывали. . .

Я жестом успокоил его, показал, что все понимаю. И, продолжая поглаживать пальцами желтую звезду, подошел к Шатцхену и снял с его плеча пылинку. Он испуганно отшатнулся. На мой взгляд, это не очень вежливо. Инспектор Гут и писарь ошеломленно смотрели на Шатца, потому что меня, как сами понимаете, видеть они не могли. Проблема поколений, надо думать.

А я вытащил из кармана маленькую щетку и почистил Шатца с ног до головы, как статую. Я хочу, чтобы он всегда был чистеньким. Потом поплевал ему на плечо, где заметил небольшое пятнышко, и протер рукавом. После чего с радостной улыбкой чуть отступил и, склонив голову набок, полюбовался своей работой. Безукоризненно. Мне нравится оказывать услуги. Но меня не поняли. Шатц с криком оттолкнул свое кресло.

– Хватит! – заорал он. – С меня хватит! Это продолжается уже двадцать два года! Отстаньте от меня!

Я согласно кивнул и отвалил, насвистывая «Хорст Вессель». В Германии сейчас настоящее возрождение военных маршей. Выпускают пластинки. Напевают. Готовятся. Канцлер Эрхард отправился в Соединенные Штаты требовать ядерного оружия. Вернулся несолоно хлебавши и был отправлен в отставку. Когда имеешь прошлое, тащить на плечах девятнадцать лет демократии нелегко. Новый канцлер Кизингер очень недолго – с 1932 по 1945 г., в период идеализма и юношеского энтузиазма, – состоял в нацистской партии. Короче, этот пыл, что налетает порывами, наверно, меня немножечко и беспокоит: возрождение. Кстати, я тут припомнил, что, когда профессор Герберт Левин несколько лет назад был назначен главным врачом Центральной больницы Оффенбаха – это недалеко от Франкфурта, – большинство муниципальных советников воспротивились под тем предлогом, что – цитирую – *«невозможно доверять врачу-еврею и позволить ему непосредственно лечить немецких женщин после того, что произошло с евреями»*. Недавно я вырезал эту цитатку из иллюстрированного приложения к «Санди Тайме» от 16 октября 1966 г. и повесил ее над стульчаком моего друга Шатца, чтобы он не чувствовал себя таким одиноким.

– В конце концов, это недопустимо! – рявкнул Шатц.

Гут ошарашенно воззрился на него. Хюбш вскочил из-за стола и заботливо склонился над горячо любимым шефом. Должно быть, они думают: переутомление. Кстати, а вы знаете,

что Эйхман всегда носил в кармане фотографию своей маленькой дочки? Люди никогда не способны реализоваться полностью.

– Вы что-то сказали? – осведомился Гут.

– Ничего, – буркнул Шатц. – Тут мне. . .

Что бы вы мне ни говорили, а я уверен – он чуть было не ляпнул: «Тут мне явился мой еврей», – но вовремя спохватился.

– Тут мне. . . немножко нехорошо стало, – объяснил он.

Он опять схватился за бутылку. Мне это совсем не нравится. Этот подлец пытается меня утопить.

– Это обычная история, когда я переутомлюсь, – объяснил Шатц. – Но днем такое случается редко. . . Ну, хорошо. Вы тут говорили про двух «влиятельных» господ, желающих повидать меня, в то время как я завален. . . занят кучей трупов. . .

Я как ни в чем не бывало быстренько прошелся перед ним. Вид у меня был, будто я целиком занят собственными заботами. Шатцхен проследовал за мной взглядом, вскочил и грохнул кулаком по столу.

– Черт возьми! Хватит меня преследовать!

– Хорошо, хорошо, – забормотал Гут, решивший, что шеф имеет в виду тех двух господ, настаивающих на приеме. – Я сейчас им передам. . . – Он покачал головой: – А вам, патрон, надо бы немножко отдохнуть.

– Я всегда исполнял свой долг до конца, – отрезал комиссар.

Это чистая правда, и я решил, что надо его с этим поздравить. В руке у меня букетик цветов. Я поставил его в стакан на письменном столе моего друга. Я страшно люблю проявлять такие маленькие знаки внимания. Но комиссар выглядел как бык, которому нанесли незаслуженное оскорбление. С секунду он пялился на букетик, а потом забарабанил кулаками по столу.

– Немедленно убрать эти цветы! – заорал он.

Инспектор Гут и Хюбш переглянулись.

– Какие цветы, шеф? – удивленно спросил Гут. – Нет тут никаких цветов.

Шатцхен сделал глубокий вздох. Но я не уверен, что от этого ему стало легче. Понимаете, дело в том, что я – часть этого воздуха. Как бы это объяснить?.. Чистая химия. Ничего сверхъестественного. Атомы там всякие. Молекулы. Я знаю, что еще? Короче, никуда я не делся, как был, так и остался.

– Не хотите на минутку прилечь? – заботливо осведомился Гут.

Гут совсем еще молодой человек. Двадцать восемь лет. Высокий, белокурый, крепкий, того физического типа, который отлично смотрится на Олимпийских играх. Конечно, он слышал, как и остальные, обо всей этой истории, но по сравнению с добрыми личными воспоминаниями это ничто. Он – немец нового поколения. Я для него пустое место. Вообще для них я не существую. Они вам даже скажут, что в Германии больше нет евреев. И они совершенно серьезно так думают. И навряд ли даже из антисемитизма, скорей уж из сыновнего почтения.

– Да не хочу я ложиться, – сдавленным голосом отвечает Шатц. – Что угодно, только не ложиться. Если я лягу, будет еще хуже. Эта сволочь садится мне на грудь. . .

И тут Шатц спохватывается:

– Я хотел сказать. . . у меня тяжесть. . . вот здесь, в груди. . .

– Это желудок, – объявляет Гут. – Съели что-нибудь тяжелое и никак не можете переварить.

Я не удержался и фыркнул. Лучше не скажешь. Сейчас я скромненько держусь в тени, стараюсь не мозолить глаза моему другу, – в гестапо это называлось «психологическая пе-

редышка», и нам иногда даже давали стакан воды и ломтик хлеба с повидлом, – стою и слушаю, руки за спиной. В определенном смысле, я берегу свою публику. Шатц – теперь мой единственный, мой последний зритель, а для такого, как я, с призванием комика, публика – это святое. Так что я очень стараюсь не утомлять его. Любой профессиональный хохмач скажет вам вот что: совершенно необходимо дать секунду передышки. Когда шутки, или *вицы*, идут непрерывно одна за другой, они перестают действовать. Происходит насыщение. Чтобы раздался новый взрыв смеха, надо сделать паузу.

Так что я стушеввался и молча наблюдаю со стороны. И вижу, что правильно делаю. Шатца потянуло на откровенность.

– Гут, у меня большие *цорес*, – объявляет он.

Даже не сказать, как я доволен. Я страшно люблю слушать, как мой друг Шатц говорит на идише. Я очень чувствителен к подобным свидетельствам дружбы.

– Простите? – недоуменно спрашивает Гут.

Шатц заливается пунцовой краской. Не понимаю, чего тут стыдиться. Нет ничего плохого в изучении иностранных языков, даже если это происходит среди ночи.

– У меня сложности, неприятности. Слушайте, Гут, вы ведь мой друг. Поэтому я вам сейчас расскажу. Вы молоды, вашего поколения это не коснулось. Это еврей.

– Еврей?

– Да. Ужасно вредный еврей, из тех, что ничего не прощают... из тех... из... *ликвидированных*. Эти самые упорные. Совершенно бессердечные.

Я пожал плечами. Тут я ничего не могу поделать. Я ведь не нарочно, не просил же я их. И потом, «ликвидированные» – это сказано несколько поспешно. Есть мертвые, которые никогда не умирают. Чем больше их убиваешь, тем больше их воскресает. Возьмем, например, Германию. Сейчас эта страна полностью населена евреями. Разумеется, их не видно, физически они не присутствуют, но... как бы это сказать? Их нельзя не чувствовать. Вы будете смеяться, но пройдите по любому немецкому городу – а также по Варшаве, по Лодзи, да где угодно, – всюду пахнет евреем. Да, да, улицы забиты евреями, которых там нет. Потрясающее впечатление. Кстати, на идише есть одно выражение, пришедшее из римского права: «*Мертвый хватает живого*». Вот это то самое. Я не хочу огорчать целый народ, но Германия полностью оевреившаяся страна.

Разумеется, для Гута все это пустой звук. Это ариец из поколения, в жилах которого нет ни капли еврейской крови. Он мне напоминает израильских *сабра*. Они такие же высокие, белокурые, крепкие, олимпийские. Они не знали гетто. Слегка обезоруженный молодыми немцами, я чувствую и признаю: нет у меня к ним никакой враждебности. Это ужасно.

– Шеф, я ничего не понимаю. Какой еврей?

– Да вы и не можете понять, – с безнадежностью произносит Шатц. – Просто я тащу на себе еврея. Понятное дело, это всего лишь галлюцинация, и я это прекрасно понимаю, но крайне неприятная, особенно в минуты переутомления, как сейчас.

– Вы обращались к врачам?

– Да представьте вы себе, это тянется уже двадцать два года. Я их толпы, толпы...

И тут он замолкает. Он увидел меня, я ему сделал знак.

– Я хочу сказать, толпы *врачей*. Ничего они не смогли. Они и пальцем не хотят пошевелить. Когда я говорю им, что во мне паразитирует еврей, который не оставляет меня, можно сказать, ни на минуту, особенно по ночам, они сразу же начинают бекать и мекать. Я думаю, они просто боятся за него взяться. Сами понимаете, они же немецкие врачи и боятся, что, если им удастся избавить меня от него, их могут обвинить в антисемитизме, а то и в геноциде. Я даже собирался поехать лечиться в Израиль – как-никак между нами подписан договор

о культурном сотрудничестве, – но у меня есть чувство такта: нельзя просить израильских психоаналитиков уничтожить еврея, чтобы вылечить немца. В итоге одни мучения.

Гут, похоже, заинтересовался:

– И так все время?

– Все время.

– А вы... Вы его... Я хочу сказать... вы его знали?

– Нет... То есть да... Ладно, между нами. Лично я его не знал, но заметил... то есть когда я скомандовал «Feuer!»... Поймите, у меня был приказ, понимаете, приказ, ну и, само собой, честь мундира не следует забывать... то есть, я хотел сказать, забывать... Короче, когда я дал команду открыть огонь, он повел себя не как остальные. Там их было человек сорок – мужчины, женщины, дети – на дне ямы, которую мы приказали им выкопать. Они стояли и ждали. Им и в голову не пришло защищаться. Женщины, конечно, кричали, пытались прикрыть детей своими телами, но никто даже не пытался что-нибудь выкинуть. В таком положении даже их изворотливость пасует. Но вот один из них... Он повел себя не так, как все. Он защищался.

– Чем?

– Чем? Чем? Непристойным жестом.

– Непристойным жестом?

Это правда. Я до сих пор задаю себе вопрос, что толкнуло меня показать в такой миг голую задницу представителю *расы господ*. Быть может, я предчувствовал, что придет день и евреев станут упрекать за то, что они, не сопротивляясь, позволяли уничтожать себя, и я решил воспользоваться единственным оружием, которое мы сохранили почти в полной неприкосновенности в течение столетий и которого через секунду мне предстояло лишиться. Ничего другого сделать я не мог. О том, чтобы выпрыгнуть из ямы и броситься на эсэсовцев, нечего было и думать: она была слишком глубокая, да меня в тот же миг срезали бы очередью. Но я хотел сказать последнее слово. Прежде чем получить пулю в сердце, я хотел послать Германию, нацистов, человечество, тех, кто будет жить после меня. И воспользовался для этого древним оскорбительным жестом, известным во всем мире. А выглядит он так: сгибаешь в локте правую руку, выставляешь ее вперед, сжимаешь кулак и одновременно резким рубящим движением левой ладони ударяешь по правой руке у локтевого сгиба... Очень выразительный жест.

– Мои люди уже целились в них, и тут он выскочил вперед и сделал этот непристойный жест. Полное отсутствие достоинства. Я просто задохнулся от возмущения его постыдным поведением перед лицом смерти и на секунду-другую задержался с командой «Feuer!» – а этот мерзавец с молниеносной быстротой воспользовался моим опозданием, что доказывает: он привык наносить оскорбления... В это трудно поверить: ведь через секунду ему предстояло умереть, но...

– Но?

– Он повернулся к нам спиной, спустил штаны, показал нам свой голый зад и, прежде чем упасть, крикнул: «*Киш мир ин тохес!*»\* Настоящая *хуцпе*, отвратительная наглость...

С секунду все молчали.

– А я и не знал, что вы говорите на идише, – заметил Гут.

– Я? На идише?

– Мне так показалось.

---

\*Поцелуй меня в зад! (*идиш*)

– Gott in Himmel!\* – вскричал Шатц.

Я был в бешенстве. А что такого вообще? Мы столько лет уже вместе, и вполне естественно, что я научил его парочке-другой слов.

– Это он, – буркнул Шатц. – Все он. Вы правы. Да я уже и сам замечал. Иногда он заставляет меня говорить на идише, особенно по ночам. . .

Да, правда, я даю ему уроки. И что такого? Я ведь не сплю никогда. Мне скучно. К тому же Шатцхен храпит. Это невыносимо. Чувствуется, что он совершенно не думает обо мне и, может, даже видит приятные сны. Тут-то я бужу его и даю ему урок идиша. Он может считать что угодно, но это вовсе не напрасная трата времени. У нас есть прекрасные писатели. Например, Шолом-Алейхем. И скоро Шатцхен сможет читать Шолом-Алейхема в оригинале. Что же тут плохого?

Гут сосредоточенно смотрит на своего шефа, похоже, он убежден, что у того приступ паранойи. Шатц встал со стула и принялся искать меня взглядом. . . Но я стал полностью невидимым. Я чувствую: если очень на него давить, он спятит с ума. Это будет ужасно. Я вовсе не хочу потерять его.

– Вам бы стоило принимать транквилизаторы, – предложил Гут.

– *Он не позволяет. . .*

Вот уж врет. Я разрешаю ему принимать любые транквилизаторы, какие его душе угодно. Мне на них начхать. Они на меня никак не действуют. Я спокойно переношу их. А также шнапс, барбитураты и любые выходки неонацистов и «Зольдатен Цайтунг». Они загнали меня в свое подсознание, и я остаюсь там. Меня не искоренить. И считаю, что германское правительство совершенно напрасно пытается получить ядерную бомбу. Подобная попытка морального перевооружения кажется мне смехотворной. Так им не удастся избавиться от меня. Что сделано, то сделано. На протяжении нескольких поколений они называли нас «внутренними врагами». И теперь-таки имеют нас внутри себя. И водородная бомба тут абсолютно бесполезна. Чего они вообще хотят? Богу душу отдать? Что ж, должен признать: это, конечно, способ окончательно вытравить нас.

– Я ловлю себя на том, что вопреки себе произношу слова на этом гнусном жаргоне. . . Кончилось тем, что я купил словарь, чтобы понимать, что я говорю. . . *Арахмонес. . .* Это значит: сжальтесь. Я тысячи раз слышал это омерзительное слово. *Хуцпе*, нахальство. . . *Гвалт*, на помощь. . . *Мазлтов*, поздравления. . . И представляете, однажды ночью я проснулся оттого, что пою.

Гут улыбнулся:

– Ну, это все-таки повеселей будет.

– Вы так думаете? Значит, вы плохо знаете этого подлеца. Угадайте, что он заставил меня петь? *Эль малерхамим*. Это их погребальная песнь по мертвым. . . Посреди ночи он заставил меня встать – была годовщина восстания в Варшавском гетто – и петь эту их погребальную песню. . . А сам сидел у меня на кровати, отбивал ритм и с удовольствием слушал. А потом еще заставил меня распевать *идише маме*. . . Представляете? Меня! Никакого такта! Да, конечно, среди несчастных жертв Гитлера были матери и дети. . . Но он совершенно бессердечный мерзавец. Представляете, две ночи подряд. . . Но только пусть это останется строго между нами. . . Он буквально за ноги вытаскивал меня из постели, заставлял опускаться на колени – и это у меня, в моем собственном доме – и читать *кадиш*, их заупокойную молитву. . .

---

\*Боже милостивый! (нем.)

А я виноват, что как раз прочитал в газете об оскверненных еврейских могилах? Надо, так надо.

На сей раз инспектор Гут был явно удивлен:

– На колени? Он заставил вас опуститься на колени и читать этот их... как его... кадиш?

Странно. Евреи же не молятся на коленях.

С секунду Шатц пребывал в нерешительности.

– *Мы их ставили на колени*, – вполголоса, как бы по секрету, объяснил он.

– Ах, вот что... – немножко смущенно протянул Гут.

### 3. Хочу уточнить

Хочу уточнить, внести, так сказать, историческую достоверность. В нашей группе никто не становился на колени. Кажется, один из нас выжил, его недострелили, он только потерял ногу; это Альберт Кац, проживающий в Кракове на улице Брацкей, дом 3; он может засвидетельствовать это, потому что мне не поверят: посмертные свидетельства вечно воспринимаются с подозрением. Справа от меня находилась целая семья Каценеленбогенов, потом Яков Танненбаум, инженер Геданке и красивейшая девочка лет четырнадцати Цаца Сардиненфиш.

Хотел бы заодно сделать еще одно замечание. Фамилии эти вам, несомненно, покажутся страшно нелепыми, и, быть может, у вас возникнет впечатление, что с убийством этих людей немножечко уменьшилось количество нелепого в мире, так что если рассудить, то действие это имело в каком-то смысле положительный эффект. Позвольте объяснить. Не мы выбирали такие фамилии. В процессе расселения многие из нас оказались в Германии. Мы тогда звались «сын Аарона», «сын Исаака», et cetera, et cetera. Немцы, естественно, сочли, что нам нужны фамилии, но не столь неопределенные. И великодушно, с большим чувством юмора, наделили нас ими. Потому-то мы до сих пор и носим дурацкие фамилии, вызывающие смех. Человеку свойственно смеяться.

– Они даже не способны взять в толк, что это не наша вина, – втолковывал Шатц, – что это Папа не захотел шевельнуть пальцем. Если бы Папа Пий XII сказал хоть слово, у нас по крайней мере было бы основание не убивать этих евреев. Алиби... Все, что нам нужно было, это алиби, чтобы не убивать их. Кстати, я собственноручно ни одного не прикончил! Но нет, Папа не протянул нам руку. Мы не получили оснований, и пришлось их убирать. А теперь мы оказались оккупированы. Гут, они ведь оккупировали Германию, все эти пять миллионов...

– Шесть, – уточнил Гут.

– Пять с половиной... В конце концов, какое это имеет значение. Знаете, однажды ночью он явился и потребовал от меня, чтобы я дал клятву, что до конца своих дней буду есть только *кошерное*. Я теперь не смею взять в рот даже ломтик ветчины... Если так дальше пойдет, он меня доконает. У меня впечатление, что он хочет, чтобы я перешел в иудаизм.

Вот уж неправда. Я всегда уважал религиозные убеждения других. И у меня нет ни малейших намерений запрещать моему другу Шатцхену лакомиться ветчиной. Но когда так близко сживаешься с кем-нибудь, в конце концов обязательно перенимаешь некоторые его вкусы и привычки. Это называется миметизм, один из великих законов природы. К примеру, ни для кого не секрет, что, когда возвращается миссионер, пробывший в Китае лет пятьдесят, глаза у него чуточку раскосые. Вполне естественно, Шатцхен перенял у меня некоторые привычки, некоторые черты характера. Вечером в пятницу он даже готовит кое-какие наши кушанья. *Чолнт, цимес, гефилте фиш*. Пытается сгладить, да что там, исправить совершённое. Брается с нами.

– Вы слишком зациклились на этом, – заметил Гут. – Вам надо бы провести некоторое время в какой-нибудь арабской стране, пройти, так сказать, дезинтоксикацию.

– Вы полагаете, что, имея на руках эту серию убийств, я могу себе позволить отпуск? Строго между нами, Гут, я ведь даже не очень-то огорчен этим. Это позволило мне пересмотреть свои представления.

– Если нам удастся поймать преступника, ваше фото появится во всех газетах.

Вид у Шатца стал очень обеспокоенный, но это он зря. Он так изменился за эти годы, что его никто не узнает.

– Так что мне сказать этим господам? – поинтересовался Гут. – Барон фон Привец очень настаивает: он уверяет, что вы получили приказ принять его.

– Никаких приказов. Министр действительно звонил, но я в это время отсутствовал.

– А что с журналистами?

– Скажите им, что я. . .

И тут возникаю я. Надо меня видеть: длиннущее пальто, покрытое белой известкой, волосы торчком, каждый волосок как застывшая молния. Я сажусь на стол Шатца, кладу руки на колени и небрежно покачиваю ногой.

– Скажите им, что я. . . *занят!* – рычит Шатц.

Гут выходит. Я сижу на столе. Хюбш, уткнувшись носом в бумаги, скребет перышком. Шатц берет со стола стакан и наливает шнапса. Нерешительно бросает взгляд на Хюбша и незаметно предлагает его мне. Я отрицательно качаю головой. Шатц не настаивает и выпивает сам. Секунды три он пребывает в некоем сомнении, потом наклоняется, украдкой открывает нижний ящик стола и достает пакет с *мацой*. Вытаскивает из пакета опреснок и протягивает мне. Но я не поддаюсь на соблазн. Мой друг вздыхает и кладет пакет обратно в ящик. А когда выпрямляется, обнаруживает, что Хюбш стоит и с безграничным изумлением наблюдает за ним. Комиссар багровеет. Нет ничего неприятней, чем быть застигнутым подчиненным в момент интимных отношений с дорогим тебе существом. Шатц взрывается:

– Хюбш, какого черта вы шпионите за мной? Что вас так заинтересовало?

Писарь опадает на стул, облизывает губы и молча качает головой. Вид у него совершенно ошарашенный. Похоже, он убежден, что шеф сошел с ума. Но надо признать, что картинка эта: комиссар полиции с умоляющей улыбкой предлагает *мацу* еврею, которого нет в кабинете, – слишком большое испытание для государственного чиновника, почитающего предписания и начальство.

– Гут слишком молод, – бормочет комиссар. – Ему не понять. Он же не знал всего этого. Не отведал всех тех несчастий, что отведали *мы*. . . Верно?

Я не реагирую. Позволяю Шатцу обхаживать меня. По-прежнему сижу на столе, положив руки на колени, и безразлично болтаю ногой. И отмечаю, что комиссар с каждой минутой все больше пьянеет. Хюбш в ужасе прячется за своими бумаженциями.

– *Мы* ведь так пострадались. . . А?

Я киваю. Он прав. Когда я думаю о том, что мы, евреи, внесли в сознание немцев, мне становится нехорошо. У меня сердце обливается кровью.

– Но ведь *мы* были вынуждены подчиняться, – не унимается Шатц. – *Мы* всего лишь исполняли приказы. . .

И он опять протягивает мне стакан шнапса, но я с достоинством отворачиваюсь.

– Скотина, – бормочет Шатц.

Нет, нет, я не имею ничего против еврейско-немецкого сближения, но оставляю это для грядущих поколений. Пока что я отказываюсь забыть. Вы же знаете, что это такое – настоящий комический темперамент: у меня потребность смешить. А в Германии, можете мне поверить, пока еще есть идеальная публика для комика-еврея. Если вы не верите мне, можете перелистать иллюстрированное приложение к «Санди Тайме» от 16 октября 1966 г. В Берлине у нас теперь есть раввин Давид Вейц – он приехал из Лондона. Так вот, как он сообщил английской газете, больше всего его поразило и немножко огорчило – цитирую: «*то, что берлинцы показывают на него пальцами и смеются, когда он выходит из синагоги, и так продолжается, пока он не дойдет до дома*». Как видите, я ничего не придумываю, и

наш долг, еврейских комиков – всех шести миллионов, – оставаться здесь и смешить немцев до тех пор, пока они наконец не получат оружия более мощного, чем смех.

Шатц угрюмо заглотнул шнапс. У меня иногда возникает ощущение, что он меня ненавидит. Впрочем, мы, евреи, всегда страдали манией преследования, это всем известно.

– Злопамятный, как ведьма, – бурчит комиссар.

Хюбш оторвал нос от бумаг и боязливо скосил глаза на шефа. Бутылка шнапса уже почти пуста. Чувствуется, Хюбш обеспокоен. Он знает: на руках у них серьезнейшее дело и оберкомиссару необходимо быть на вершине своих интеллектуальных и моральных возможностей.

Зазвонил телефон, Шатц берет трубку.

– Мое почтение, господин генеральный директор. . . Нет, пока, к сожалению, никаких улик, никаких следов. . . Я поставил патрули вокруг леса Гайст, допросил более трехсот человек. . . Запретил вход в лес всем гуляющим, всем любителям сильных ощущений. . . Вы же знаете людей. . . Просто из любопытства!.. По моему мнению, их несколько. Организованная банда, возможно религиозная секта. . . Господин генеральный директор, я не могу помешать мировой прессе поносить нас. Они опять суют нам в нос Дюссельдорфского вампира. В конце концов, это даже смешно; вот уже сорок лет всякий раз, когда они хотят облить нас, немцев, помоями, они вытаскивают Дюссельдорфского вампира. Могли бы придумать за это время что-нибудь. . .

Я прошелся по кабинету. Насвистывая, лицо безразличное, выражение отсутствующее. Комиссар бросает на меня испепеляющий взгляд.

– Да, господин генеральный директор. Я немедленно приму его. Я не знал, что он от вас. Да, и постараюсь умиротворить журналистов, буквально сейчас же побеседую с ними. Их там десятка два. Мое почтение.

Шатц бросил трубку на рычажок. Он взбешен, и ему нужно на ком-то сорвать злость. Сейчас он способен швырнуть в меня чернильницей. Между прочим, он лютеранин. А они страшно боятся демонов. Они их столько сожгли.

– Хюбш.

– *Яволь.*

Хюбш вскочил и ждет приказаний.

– Я неоднократно просил вас не вытирать перо о волосы. Это омерзительно. Вам необходимо проконсультироваться у психоаналитика.

– *Яволь.*

Шатцхен вышел. Хюбш с секунду еще стоит, мысленно обсасывая указание начальства. Сосредоточенно рассматривает перо, задумывается, потом с унылой гримасой вытирает его о волосы и садится. Я все больше и больше укрепляюсь в мысли, что у него никогда не было женщины.

А у меня чувство брошенности. Ощущение, будто меня вытолкнули в темноту, заперли в душной темной комнате, где в каждом углу таится угроза.

Подсознание, я не пожелал бы такого своим лучшим друзьям.

## 4. Человеку свойственно смеяться

Как могу, пытаюсь убить время. Погрузился в грезы. Думаю об Эразме, Шиллере, Лессинге, о великих наших гуманистах. Натурализоваться – это еще не все, надо знать, чем это тебе грозит. В Соединенных Штатах, чтобы получить гражданство, нужно сдать экзамен, доказать, что ты знаешь историю страны, которая принимает тебя в свое лоно. Мне, как вы понимаете, беспокоиться нечего, я свой экзамен по истории уже сдал, получил что причитается по полной программе. Вы можете мне не поверить, но что меня до сих пор потрясает, так это красота Джоконды. Вообще шедевры – крайне любопытная вещь, вы не находите? Не находите, что в них есть что-то гадостное? Нет, это я так, к слову пришлось. Представьте себя вместе со всей вашей семьей в яме, в которой вас сейчас закопают; а теперь смотрите на автоматы и думайте о Джоконде. И вот тут вы увидите, что ее улыбка... *Тьфу!* Омерзительна.

Итак, я возвысился мыслями и уже неспешно прогуливался среди наших классиков, как вдруг обнаружил, что в кабинет вошли двое, одетые по высшему классу; один – костюм «принц Гэлльский», замшевый жилет, серый котелок, перчатки, гетры, трость, Гёте, Шамиссо, Моцарт – был очень какой-то нервный. Голубые глаза его смотрели с обидой, испугом, отчаянием. В них читался немой вопрос, возмущение, непонимание. Было совершенно очевидно – это избранная натура, у которой возникли *цорес*. Его спутник, весь в твиде, был высокий, худощавый, с выдающимся носом, который иногда называют аристократическим, а иногда жидовским; когда он на лице у Бурбона, такой шнобель вызывает восхищение, нам же доставляет одни неприятности. Со своим прямым пробором выглядел он превосходно – мне вообще нравятся люди со строгой внешностью, – и я бы даже подумал об Альфреде Круппе, будь я, конечно, способен подумать такое.

Короче, оба произвели на меня самое благоприятное впечатление. Чувствовалась голубая кровь. Я подошел поближе, принялся. Пахло хорошим одеколоном, английским табаком, дорогой кожей. Евреями совершенно не пахло. Это хорошо. Впрочем, военными преступниками тоже: в свое время они сумели удачно устроиться. Я позволил себе пощупать материал их костюмчиков: да, это качество, пятнадцать марок за метр самое меньшее, причем продавай я его за такую цену, я бы здорово продешевил. В этом-то я немножко понимаю: мой папа Мейер Хаим был портным в Лодзи. Вообще в моем роду несколько поколений портных. Папа любил хороший покрой, хороший материал, одевался всегда очень хорошо, если не считать момента казни: перед расстрелом им всем – мужчинам, женщинам, детям – приказали раздеться до гола. Нет, вовсе не из жестокости: в конце войны Германия испытывала недостаток почти во всем, и потому одежду хотели получить целую, без пулевых отверстий.

Иногда у меня возникает впечатление, что Джоконда – это вандализм.

Хюбш вскочил и почтительно приветствовал вошедших. Должно быть, он все воспринимает с почтением. Есть в нем что-то вечное и зловещее, неуловимо пахнущее Историей. Это человек, занимающийся составлением точнейших реестров, ведущий тщательную инвентаризацию. С самой первой массовой резни шествует в Истории этот нелепый тип, унылый, безукоризненный, честный, с табличкой писца, с гусиным пером, и записывает: такого-то дня в такой-то местности достояние такого-то племени, народа, расы увеличилось на столько-то шкур, столько-то пар детских башмаков, столько-то девичьих кос, столько-то золотых коронок. На идише есть такое выражение: *контора пишет*.

Рассказывают, что, когда Гитлер приказал уничтожить цыган, многие *цигойнер* сами убили своих жен и детей, украв таким образом у эсэсовцев единственное удовольствие, какое те

могли получить от контакта с низшей расой. Но ведь каждому известно, цыгане крадут все подряд.

– Господин комиссар прибудет через минуту, – сообщил Хюбш.

И он опять углубился в свои бумаги. Он словно растворился, стал незаметен, слышно только, как скрипит, скрипит его перышко. . . И мне вдруг пришла в голову дурацкая мысль, что этот унылый, старательный, неутомимый человечек готовит личные дела для Страшного Суда. Правда, тут же я подумал, не нахожусь ли я под влиянием фантастики, под воздействием литературы, само собой, немецкой. Помните рассказ Шамиссо под названием, если память меня не подводит, «Человек, который не мог избавиться от своей тени»<sup>\*</sup>? Это как раз про Шатцхена и про меня. Ну, а что до Страшного Суда, то я совсем забыл, что он уже состоялся, приговор был приведен в исполнение и таким образом был сотворен человек.

Про нас, евреев, ходят необоснованные байки, будто мы верим в сурового, безжалостного Бога. Вот уж неправда. Мы знаем, что Богу недоступна жалость. Но, как у всех, у него бывают моменты рассеянности: иногда он забывает про человека, и тогда наступает счастливая жизнь.

Я вот думаю про того студента, который попытался изуродовать Джоконду. Это была чистая душа. Ему был отвратителен цинизм.

Я узнал этих двоих, что заявили в кабинет. Я много раз видел их фотографии в разделе светской хроники в «Цайтунг». После немецкого чуда они составили огромные состояния и теперь тратят свои деньги на самые возвышенные цели: строят музеи, покровительствуют искусству, финансируют симфонические оркестры, дарят городу чудесные картины. Впрочем, сейчас во всем мире внешние приметы прекрасного получают всеобщую поддержку. В Соединенных Штатах, например, такое изобилие художественных сокровищ и крупных культурных ансамблей, что вы спокойно сможете там изнасиловать собственную бабушку, и никто этого не заметит. Это конечно восхищает. Но, признаюсь, от всего этого мне как-то немножко не по себе. Вообразите – просто в качестве предположения, – что Христос вдруг восстал из своего праха и оказался лицом к лицу со всем великолепием нашего религиозного искусства, со всей этой упоительной красотой «Распятый» эпохи Возрождения. Он бы возмутился, вся кровь у него вскипела бы от негодования. Надоить из его страданий такие красоты, воспользоваться его агонией для получения наслаждения – это не очень-то по-христиански. В этом есть что-то от маркиза де Сада, не говоря уже об извлечении прибыли из страданий, на что Папа должен был бы обратить внимание. Ему следовало бы запретить христианам заниматься религиозным искусством и оставить его, как и ростовщичество, евреям.

Один из двоих посетителей, тот, что пониже, в костюме из материала по пятнадцать марок за метр, очень нервничал. На его розовом, немножко кукольном лице выражалось крайнее смятение, он не находил себе места, его голубые глаза, в которых читалось потрясение, все время бегали.

– Поверьте, дорогой друг, я долго не решался, я больше всего боюсь скандала, но у меня нет выбора. Я вынужден обратиться в полицию. Если с нею случится несчастье, я этого никогда себе не прощу. Тем более сейчас, когда все газеты кричат об этих чудовищных преступлениях. . . Я опасюсь самого худшего.

– Дорогой барон, вы не первый муж, чья жена сбежала с егерем.

– Дорогой граф, я вовсе не претендую на первенство. И дело вовсе не в моем самолюбии. Я имею в виду любовь. Великую любовь.

– О чем я и говорю.

---

<sup>\*</sup>Имеется в виду рассказ А. Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля» о человеке, потерявшем свою тень, так что название рассказа пародийно вывернуто.

– *Мою* любовь.

У меня впечатление, что имеет место так называемая «ситуация».

– Любовь вообще, – уточняет граф.

– Этот разговор неуместен. Я безмерно несчастен.

– Мы *все* несчастны. . .

Беседа полна недомолвок. Они обмениваются взглядами и принимаются расхаживать по кабинету. Должен сразу признаться: у меня слабость к обманутым мужьям. Когда-то, помню, я строил на них лучшие свои комические эффекты. Вы произносите «наставил рога», и публика покатывается со смеху. Она сразу чувствует спокойствие, уверенность в будущем.

– Боюсь, как бы она не стала жертвой этого садиста, которого полиция никак не может арестовать. Он обязательно обратит на нее внимание. Она ведь такая красивая!

– Егерь защитит ее.

– Я утратил к нему всякое доверие.

– Но ведь пять лет вы доверяли ему свою дичь. . .

Барон застыл на месте и пристально глянул на графа. Потом они опять продолжили кружение по кабинету. Я уже по-настоящему веселился. Оскорбленная честь – это же самый древний и самый верный источник комического. А вспомните Лаурела и Харди\*, когда они получают в физиономию по кремовому тарту. А смех в зале, когда с Чарли при всем честном народе сваливаются штаны. . . Вы, должно быть, видели в иллюстрированных журналах любительскую фотографию, сделанную каким-то весельчаком-солдатом в день вторжения немецкой армии в Польшу. На ней изображен еврей-хасид: эти хасиды так нелепо выглядят: пейсы, длинные черные лапсердаки. На фотографии немецкий солдат, тоже весельчак, позирующий своему товарищу по оружию, со смехом таскает этого хасида за бороду. А что же делает в окружении смеющихся немецких солдат хасид, которого таскают за бороду? *Он тоже смеется.*

Я ведь уже говорил: человеку свойственно смеяться.

– Она такая доверчивая, – бормочет барон. – Так всем верит. . . Совершенно не умеет распознавать зло. Боже, сделай так, чтобы она была жива! Я готов ей все простить. Готов поступиться всем.

– Как вам угодно.

Барон бросил на графа испепеляющий взгляд. Видно, он во всем подозревает намеки. Поистине, есть что-то уморительное, смехотворное в исполненной благородства и чувства собственного достоинства позе рогоносца. Так и вспоминается взрыв хохота после знаменитых слов Дантона на эшафоте: «Покажите мою голову народу, она стоит того». Не знаю, почему вид рогов на вдохновенном челе вызывает такое веселье. Чувство братства, облегчение, оттого что ты не так одинок?..

---

\*Пара американских комиков – Лаурел Стен (1890-1965) и Харди Оливер (1892-1957), снимались в фильмах с 1929 г.

## 5. Убийства в лесу Гайст

Я сидел, погруженный в мысли о чести, как вдруг дверь распахнулась и в кабинет вошел мой друг Шатц. Я как раз устроился в его кресле и подумал: сейчас он взорвется, но нет, он был так занят, что, никого и ничего не замечая, уселся на меня как в прямом, так и в переносном смысле. Видимо, журналисты доняли его своими вопросами, а когда он чем-то озабочен, я перестаю для него существовать. Работа – лучшее лекарство.

Уже несколько дней пресса захлебывается от возмущения. Полицию обвиняют в некомпетентности, в отсутствии системы и в нежелании принимать простейшие меры предосторожности. Правда, надо признать, что двадцать два трупа за неделю – вполне достаточный повод для возмущения всего цивилизованного мира. И все это свалилось на Шатца: лес Гайст и его окрестности, где были совершены все эти преступления, находятся под его юрисдикцией. Итак, Шатц уселся на меня и с отсутствующим видом обратился к визитерам:

– Добрый день, господа. . . Какая жарница! В Германии не упомнят такой жары. Можно подумать, где-то тлеет пламя. . .

Это совершенно безобидное замечание почему-то странно подействовало на барона: он вспетушился, и на лице его изобразилось негодование. Но Шатц вовсе не думал делать непристойных намеков на его супружеские невзгоды.

– Чем могу вам помочь?

Взаимные представления. Обмен любезностями.

– Барон фон Привец.

– Граф фон Цан.

– Обер-комиссар Шатц.

– Чингиз-Хаим.

Комиссар на миг замер, но все-таки сделал вид, будто не слышал. Ну, а эта парочка даже и не подозревает о моем существовании. Они натуры избранные и не привыкли смотреть себе под ноги. Им не в чем себя упрекнуть. Они тоже ведь всегда и во всем были за Джоконду.

– Прошу садиться. . . И прошу извинить, что заставил вас ждать. Эти журналисты! Бульварная пресса взяла нас в осаду своими специальными корреспондентами. У нас тут настоящая волна убийств. . . Но ничего нового я вам не сообщу. К сожалению, весь мир уже в курсе.

Барон провел по глазам белой ухоженной рукой. Я заметил прекрасный перстень с рубином, фамильную драгоценность, пятнадцать тысяч долларов по самой скромной оценке. Но это я так, к слову, следуя традиции, из уважения к чужому мнению. Просто не хочу разрушать привычные представления.

– Понимаете, господин комиссар, я чрезвычайно беспокоюсь за свою жену. . .

Но Шатц не слушал его.

– Двадцать два трупа за неделю, это, конечно, многовато даже для такой большой страны, как Германия.

– Личности их уже установлены?

– Почти всех. Но нам сообщили о том, что несколько человек исчезли и тела их пока не найдены.

– Боже мой!

Барон закрыл глаза. Он лишился дара речи. Граф поспешил ему на помощь:

– А нету ли среди них молодой женщины? Вот фото. . .

Барон трясущейся рукой извлек из кармана фото и положил на стол. Комиссар взял. Долго рассматривал.

- Действительно, очень красивая. Барон испустил вздох:
- Это моя жена.
- Поздравляю.
- Она пропала.
- Ах, вот как... В таком случае могу вам сообщить: среди жертв ее нет.
- Вы уверены?
- Разумеется. Я же всех их видел. В нашей поганой профессии обнаружить хоть раз такое

прекрасное тело было бы слишком большим подарком. К тому же все без исключения убитые – мужчины. Убийца, очевидно, не трогает женщин. И есть еще нечто общее во всех случаях. На лицах всех жертв запечатлелось выражение необыкновенного счастья...

С Хюбшем происходит что-то совершенно необъяснимое. Он ерзает на стуле. Да что там, с ним такое... но больше я вам не скажу ни слова. У меня и так были в свое время крупные неприятности с цензурой. Не хочу, чтобы опять начали говорить о «вырожденческом еврейском искусстве, о еврейском декадентском экспрессионизме», который «угрожает нашей морали и подрывает устои общества». Я ничуть не намерен подрывать устои вашего общества. Напротив того, я поздравляю вас с вашим обществом. *Мазлтов.*

Во всяком случае, слово «счастье», похоже, имеет для Хюбша весьма определенное значение, можно бы даже сказать, он знает, что за ним кроется. Хюбш привстал, перо повисло в воздухе, и он смотрит. Я бы даже сказал: он видит. Что он там такое видит, я не знаю и знать не хочу. *ТЬфу, тьфу, тьфу.*

Нет, отныне я за Рафаэля, за Тициана, за Джоконду. Гитлер меня убедил.

– ... Выражение восторга. Восхищения. Впечатление, будто убили их в состоянии наивысшего экстаза...

Об этом Хюбше я решительно ничего хорошего сказать не могу. Он даже начинает меня пугать. При слове «экстаз» он весь напрягся, черты лица стали жесткими; не пойму, то ли это стекла его пенсне блестят, то ли глаза горят фанатическим огнем; в нем угадывается пронзительная ностальгия, настоящий душевный *katzenjammer\**, всепожирающее стремление, и я, не знаю почему, проверил, на месте ли моя желтая звезда, все ли в порядке.

Но это вовсе не значит, будто я верю в возрождение нацизма в Германии. Они придумают что-нибудь другое.

– Нет никакого сомнения, что все эти мужчины в момент смерти... как бы это выразиться? Даже не знаю. Они полностью *реализовали себя. Осуществились.* Впечатление, будто они коснулись цели, ухватили ее. Будто дотянулись и сорвали некий высший плод... Абсолют. Вот что я вам доложу: такого выражения счастья я никогда на лице человека не видел. На своем – это уж точно. Это заставляет задуматься. И задаешь себе вопрос, что они видели, эти сукины... О, прошу прощения.

Тяжелая тишина, исполненная ностальгии и надежды, повисла в кабинете в управлении полиции на Гётештрассе, номер 12.

---

\*Похмелье (нем.).

## 6. Попахивает шедевром

Не знаю, то ли это чисто нервное, то ли это какое-то оптическое явление, но через несколько секунд мне стало казаться, будто все залито небывало прозрачным светом. Явление было настолько мощным, что, когда капрал Хенке вошел в кабинет и положил на стол очередное заключение судебно-медицинского эксперта, я увидел, что он окружен шедевральным световым ореолом; можно подумать, его послал Дюрер, чтобы успокоить меня насчет нашего будущего. От сильнейшего волнения у меня сдавило в горле, да так сильно, что в голове промелькнула мысль, уж не рука ли самого Гольбейна или Альтдорфера душит меня, уж не исчезну ли я вот-вот с кистью и шпателем в глотке под вдохновенными красками на этом пиру совершенства. Я исходил потом, извивался, пытался глотнуть воздуха, но, видимо, то был приступ астмы: я всю жизнь страдал от удушья. И потом, чего мне было бояться? Самое худшее уже произошло. Можно добавить лишь несколько мазков, добавить, как говорят на идише, к страданию оскорбление, превратить меня в живописный шедевр и повесить в Дюссельдорфском музее, как это уже сделали с картиной Сутина. Немножечко искусства никому плохо не сделает, и я не вижу, почему я не могу собой увеличить кучу ваших культурных ценностей.

О, я опять смог вздохнуть свободно. От мысли, что я попаду в наш Воображаемый музей\*, мне сразу полегчало. Если за меня возьмется гениальный художник или великий писатель, это будет неплохое приобретение пусть не для меня, но уж для культуры. Мне приятна мысль, что я что-то привнесу в нее.

Я успокаиваюсь, залитый ясным прозрачным светом. Готовится Возрождение, только Бог знает чего. Но я убежден: мадонна с фресок и принцесса из легенды покончат с изготовлением гобелена\*\*, красота Джоконды больше не будет лишь красотой картины, они обретут плоть, станут реальностью. Я чувствую, что все сотворенное будет очищено искуплением и вскоре даже я обрету, как Христос, облик, достойный шедевра.

Комиссар Шатц переходит на доверительный тон. Обычно, как сами понимаете, он не слишком-то откровенничает. Но я был свидетелем, как он не спал целую ночь, пытаюсь понять, проникнуть в тайну никогда-не-виданного-счастья на лицах жертв этого преступления, которое газеты с восхитительной *хуце* уже несколько дней именуют не иначе как «СЕРИЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ УБИЙСТВ В ГЕРМАНИИ».

– И тем не менее у меня есть идея на этот счет. Я начинаю верить, что это сама смерть наполняет их таким блаженством. Что эта смерть... совсем другая, пришедшая откуда-то... короче, совсем не та, что обычно... Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать...

Похоже, барона это не заинтересовало, но его спутник утвердительно кивает.

– Возможно, – промолвил он. – Быть может, наши ученые изобрели новую смерть... которая достойна нашей исключительности. Смерть просвещенную... Даже скорей культурную. Подлинное искусство... Великолепное художественное деяние... Ренессанс смерти... Со своими Микеланджело, Мазаччо, Тицианом, Рафаэлем... Привкус абсолюта... Кстати, а вы знаете, что сексуальный спазм у раков длится двадцать четыре часа?

\* Название первого тома искусствоведческой трилогии Андре Мальро «Психология искусства» («Воображаемый музей», 1947; «Художественное творчество», 1948; «Цена абсолюта», 1950). За ним последовал трехтомник «Воображаемый музей мировой скульптуры» (1952-1954).

\*\* Здесь и далее ироническая аллюзия на книги стихов французского поэта Шарля Пеги (1873-1914) «Гобелен Святой Женевьевы и Жанны д'Арк» (1912) и «Гобелен Пресвятой Богородицы» (1913).

Хюбш прямо-таки вскинулся. Даже на комиссара это произвело глубокое впечатление.

– Господа, опомнитесь, – возмутился барон. – Моей жене, быть может, грозит смертельная опасность, а вы тут философствуете.

Комиссар Шатц после краткого взгляда, устремленного к абсолюту, возвратился на землю.

– Так, вы говорите, она исчезла?

– То есть она ушла с... с...

– С егерем, – закончил за барона граф.

Шатц чуть прищурил глаза:

– У вас что, нету шофера?

– Есть, но я не вижу...

– Обычно в высшем обществе сбегают с шофером.

– Господин комиссар, я расцениваю шутки подобного рода...

Шатц встает из-за стола. Он столько уже вылакал, что едва держится на ногах. Грубым, тягучим голосом он объявляет:

– Полиция такими делами не занимается.

– Как так?

– Вы сами должны были позаботиться, чтобы удержать ее.

Шатц напряженно, с каким-то отчаянным рвением вглядывается в фотографию:

– Мужья, у которых такие красивые жены, обычно принимают элементарные меры предосторожности. Так что прошу меня простить. Обратитесь к частному детективу. Я занимаюсь совсем другими сучками.

Барон задохнулся от негодования:

– Милостивый государь, выбирайте выражения! Речь идет о баронессе фон Привец.

Граф с возмущенным видом бросает:

– Да он же пьян.

## 7. Тайна усугубляется

Шатц действительно напился до такой степени, что, явись я ему внезапно сейчас, он вполне мог бы меня не увидеть. Надо сказать, характер у меня беспокойный, неуравновешенный, и оттого я иногда впадаю в пессимизм. Я боюсь, что, по мере того как мы все больше и больше будем упиваться культурой, наши величайшие преступления окончательно смажутся и расплывутся в тумане. Все будет окутано таким плотным слоем прекрасного, что и массовая резня, и массовый голод станут всего лишь удачными литературными или живописными эффектами под пером какого-нибудь Толстого или кистью некоего Пикассо. И в конце концов мы придем к тому, что мельком увиденная гора трупов, тотчас обретшая мастерское художественное отображение, будет причислена к историческим памятникам и станет восприниматься только как источник вдохновения, материал для «Герники», а война и мир обратятся для нашего вящего эстетического наслаждения в «Войну и мир». Но, по сути, причина тут в нашей уже вошедшей в поговорку скупости, в нашей алчности: я боюсь, что какой-нибудь писатель или там художник решит заработать на мне, извлечет барыш из моего несчастья. Мы, евреи, вечно хотим все прибрать к рукам, это знают все.

– Господа, вы что, газет не читаете? Не знаете, что происходит? Кругом трупы, всеобщий ужас, люди закрываются в домах, весь мир потрясен, пресса как с цепи сорвалась, всюю кроет полицию за так называемую беспомощность, а вы хотите, чтобы я кинулся вам на помощь, потому что вам наставили рога!

– Нет, это невозможно! – возопил барон. – Я буду жаловаться министру!

– Двадцать два убитых! И у всех сияющие лица, и все *без штанов!*

Граф решил, что он недослышал.

– Без штанов?

– Вот именно, – подтвердил комиссар. – Без штанов. И улыбки до ушей.

– Улыбки? То есть как это улыбки? Почему?

– Порядочные женщины не смеют выйти из дому.

– Но я полагал, что преступник убивает только мужчин. . .

– Порядочные женщины не осмеливаются высунуть на улицу нос из-за того, что они могут увидеть. Двадцать два улыбающихся трупа без штанов – вот что на меня свалилось. Я уже три ночи глаз не могу сомкнуть. . . Передо мной стоят их блаженные, радостные хари. . . Что они такого увидели? Что им доставило такое удовольствие? Кто? Что? Как? Удар ножом в спину и тем не менее. . . Можно подумать, они умерли от радости. . . Так что ступайте, господа, и жалуйтесь министру. Скажите ему, что комиссар Шатц ничтожество, ни на что не способен и, вместо того чтобы помочь вам, сидит и размышляет о рае. . .

Он схватил телефонную трубку:

– Кюн? Послушайте, тут мне пришла одна идея. Проверьте-ка, не являются ли, случайно, жертвы евреями. . . Как зачем? Если они все евреи, у нас хотя бы появится мотив. . . Да, пришлите мне. Спасибо, доктор. Послушайте, ничего нового вы мне не сказали. Я прекрасно знаю, что они подверглись зверскому насилию. . . Да, знаю, удар ножом в спину. Что? *Что-о?* Абсолют? Какой еще абсолют? Маленький абсолют? Как это – маленький? Ну? В какой момент? До, во время или после? Что значит на вершине? На вершине триумфа? На вершине блаженства? На вершине славы? В окружении прекрасного? Самая прекрасная, достойная

зависти судьба? Слушайте, доктор, все знают, что вы патриот, но успокойтесь, ради Бога! Доктор! ДОКТОР!

Комиссар швырнул трубку на рычаг, вытащил из кармана платок, вытер руки.

– Ну, грязная скотина! По телефону! Какая мерзость! Выходит, у меня в руках самая большая серия преступлений на сексуальной почве со времен земного рая!

– Говорят «на руках», – поправил граф. – На руках, а не в руках.

Комиссар обошел вокруг стола, плюхнулся в кресло.

– Итак, подведем итоги. Никаких следов борьбы, сопротивления. По крайней мере, все обнаруженные штаны аккуратно сложены, что неопровержимо свидетельствует о том, что все жертвы добровольно снимали их. . . Я считаю, что убийца использовал в качестве приманки женщину и наносил удар, когда жертва была полностью сосредоточена на. . .

– На чем?

С Хюбшем сейчас что-то произойдет, он вне себя. Он снял галстук, жилет. У него взгляд одержимого. Дышит он часто, прерывисто, усики подергиваются. Не нравится мне то, что здесь происходит. Совсем не нравится. Потом еще скажут, что это все я.

– Их по меньшей мере двое. Но цель? Мотив?

– Может, ревнивый муж или любовник? – высказал предположение граф. – Увидел жену в объятиях любовника и убил его. . .

– Двадцать два любовника за одну неделю?

Но у графа на все есть ответ:

– Возможно, она циркачка, из цирковой труппы.

Комиссар бросает на него испепеляющий взгляд:

– Других предположений у вас не будет?

– Даже не знаю. Но вообще-то мне кажется, что, если мертвых обнаруживают десятками, должна быть какая-то веская причина. Это не может быть что-то вульгарное. Несомненно, в основе тут лежит глубокая вера, *кредо*, бескорыстный мотив. . . система взглядов. Нечто возвышенное. Да, да! Вы же сами говорите, что у всех жертв радостный вид. Вероятно, они были согласны. Быть может, пошли по доброй воле. Добровольно, осознанно принесли себя в жертву на алтарь какого-нибудь великого дела.

– Причем без штанов, – неторопливо заметил комиссар.

– На вашем месте я сосредоточил бы поиски в направлении идеологии. Ангажированность. . . Понимаете? Революция в Будапеште. Вот вы же сами сказали, что все эти люди добровольно сняли штаны. . . У них определенно было к этому призвание!

– Прогнило, – пробормотал Шатц. – Все полностью прогнило. Нас затаптывают в грязь. Я чувствую злобное, безжалостное еврейское присутствие. . . Злопамятные, ничего не прощающие!

Барон попытался вклиниться в их разговор:

– Господин комиссар, я понимаю, вы заняты, но, может быть, вы все-таки поможете мне отыскать жену? Целая неделя, и никаких вестей. . .

Комиссар, похоже, неожиданно заинтересовался:

– Неделя, говорите? Так, так. . . А что собой представляет этот егерь?

– Флориан? Что касается его обязанностей, чрезвычайно энергичный и пунктуальный. . .

– Ага. . .

Комиссар взглянул на фото и позвонил. Вошел полицейский, комиссар что-то шепнул ему на ухо, и полицейский вышел. Шатц закурил сигарету и несколько секунд о чем-то размышлял.

– Особые приметы?

– Что это значит?

– Этот ваш Флориан... Было в нем что-то особенное, на что вы обратили внимание?

– Нет, ничего такого я не замечал.

– Но должно же было быть в этом егере что-то такое... я даже не знаю что... чтобы такая дама...

Он опять взял фото и некоторое время созерцал его.

– Чтобы знатная дама, да еще такая красивая, сбежала с ним, в нем должно было быть что-то необыкновенное...

– Повторяю, я ничего такого в нем не замечал. Неужели я обязан присматриваться... к каждому из прислуги?

Граф, правда, придерживается несколько другого мнения:

– Должен признаться, господин комиссар, что Флориан мне всегда казался весьма интересной личностью. Во-первых, возникало ощущение, что это человек без возраста... Ни единой морщины, и потом, он говорил так, словно все уже видел и вообще живет уже целую вечность. И еще я заметил, что от него исходит... как бы это сказать?.., какая-то прохлада. Когда он оказывался рядом, от него веяло холодом... На вас как бы падала тень. В середине августа встречаешься с ним в парке – надо сказать, здоровался он всегда чрезвычайно почтительно, – и чувствуешь, как тебя обволакивает довольно пронзительный холодок. Впрочем, в сильную жару это было отнюдь не неприятно. Появлялось желание сесть рядышком с ним, отдохнуть, словно в тени большого дуба... Да, в нем было нечто притягательное. В моменты усталости, переутомления или когда бываешь захвачен какими-нибудь грандиозными планами, грандиозными надеждами – к примеру, на возвращение восточных земель, – его присутствие действовало очень и очень успокаивающе. Кстати, я заметил, что молодые люди искали его общества. Похоже, он имел большое влияние на них. Причем я настаиваю именно на физическом аспекте этого поистине ощутимого воздействия, и поверьте, я не преувеличиваю. Физическая прохлада, успокаивающая нервы и взбудораженные чувства, да, да, дарующая успокоение и приносящая непонятную удовлетворенность. Вы замечали это, дорогой друг?

– Да, действительно, он был очень холодный человек, – подтвердил барон. – Но больше я ничего не заметил.

– Полноте, дорогой друг. Вы же мне частенько говорили, что в его присутствии вы ощущаете холод, проникающий до мозга костей.

– Ну, это не надо понимать буквально.

– Легкий... приятный холодок, – настаивал граф.

– Прекрасно, прекрасно. Но вообще-то женщина сбегает из дому со слугой вовсе не по причине его холодности. А на что-нибудь еще вы обратили внимание?

– Да. Я вам уже говорил, это был человек достаточно таинственный. Вот, например... он убивал мух.

– Ну и что в этом таинственного? Все убивают мух и прочую нечисть...

Ну нет. Этого я уже не мог спустить. В тот же миг я предстал перед Шатцем и строго глянул на него. Комиссар покраснел.

– Вы все понимаете превратно, – пробурчал он. – Все вы, евреи, думаете только о себе... Я погрозил ему пальцем и исчез. Шатц пожал плечами, налил и выпил.

– Вечная манера тянуть одеяло на себя, – бросил он.

Граф был удивлен:

– Что вы сказали?

– Ничего. Ничего я не говорил. Я вообще рта не раскрывал. Ладно, продолжим. Значит, этот егерь. . . Вы говорите, он убивал мух? И это все?

– Он не убивал их естественным образом.

– А что, по-вашему, означает убивать *естественным образом*?

Я опять появился. Шатц стукнул кулаком по столу, прикрыл глаза. И здесь я должен сделать вам крайне важное признание: я ведь вовсе не намеренно терзаю его. Вообще тут довольно любопытная штука; можно бы сказать, что идет это от него самого. И причина в особом характере нашей близости, так что я даже не решаюсь слишком глубоко копать. Скажу вам только вот что: иногда я толком не знаю, то ли это я в нем, то ли он во мне. Бывают моменты, когда я убежден, что эта скотина Шатц стал *моим* евреем, что этот немец провалился в мое подсознание и навсегда в нем поселился. Частенько меня прошибает холодным потом при мысли, что нам никогда не удастся избавиться друг от друга, что мы повязаны жестоким, похабным, невыносимым братством, построенным на ненависти, крови, страхе и беспощадной злобе. Случается, меня охватывает паника и я начинаю думать, что Гитлер победил, что он не только уничтожил нас, но еще и подлейшим образом связал немцев и евреев друг с другом, перемешав нашу психику. Не только оевреил Германию, но и навсегда оставил в нас свою метку, так что немцы стали теперь евреями евреев. Паразиты психики, такого я не пожелал бы своим лучшим друзьям. Правда, я всегда был нервяк и ипохондрик. Вместо того чтобы придумывать себе *цорес*, мне бы нужно было благодарно радоваться, что есть множество немцев, которые прячут в себе шесть миллионов наших, и чувствовать успокоение от такого доказательства братства. Посмотришь на них, и уже никаких сомнений: они так здорово прячут нас. Когда вы видите немца за пятьдесят, можете быть уверены, что в нем живет тайный квартирант. Так что неонацисты не без оснований обвиняют своих соотечественников в том, что те оевреились. Даже задаешь себе вопрос, удастся ли им когда-нибудь обрести расовую чистоту, и начинаешь понимать, почему многие из них мечтают о самоуничтожении. Например, я знаю, что мой друг Шатц до такой степени жаждет от меня избавиться, что однажды даже попытался покончить с собой. Он хочет меня погубить. И я в постоянном страхе, как бы в приступе антисемитизма он не повесился или не открыл газ.

## 8. Уроки поэзии в парке

Шатц закрыл глаза, но это он совершенно зря: так меня еще лучше видно. Я выныриваю на поверхность и прихожу в себя. Уфф! Нет, у него это никакое не подсознание, это болото, трясина, и учтите, я выражаюсь еще достаточно вежливо. Находиться там я стараюсь как можно меньше – ровно столько, сколько нужно, чтобы поддержать огонь.

Шатц вздыхает, возводит глаза, но голова у него опущена, как у недоверчивого быка, взгляд устремлен на посетителей. Он знает, что у него только что был исключительно острый приступ: ночью он потерял голову и позвал фрау Мюллер, а она тут же позвонила врачам. Страшно довольная, можете себе вообразить; Шатц знал, что каждому встречному-поперечному она рассказывает, что он тронулся рассудком. И вот врачи эти пришли: вне всяких сомнений, эти два «влиятельных» лица – врачи, они за ним шпионят. Это заговор, не иначе. Уже давно он ловит на себе какие-то странные взгляды. Его хотят погубить. Ни за что не надо было проходить денацификацию. Именно это ему и ставят в вину; теперь, когда Германия во главе с НПП\* стремительно движется к возрождению, это пятно в его биографии. А вдруг эти двое из политической полиции и им приказано провести расследование, действительно ли комиссар первого класса Шатц подвергся оевреиванию?

Нет! Никакой растерянности. Главное – сохранять ясность рассудка. Стоять прочно, как утес. Пусть враги видят спокойствие, самообладание. Продолжаем расследование, делаем свое дело. Ни за что не попадаться на удочку антисемитской пропаганды, смотреть им в лицо и отрезать: *«Совершенно верно, господа, во мне есть еврейская кровь, и я этим горжусь!»* И ни в коем случае не позволять этой сволочи Хаиму манипулировать моими мыслями, сеять смятение, ни за что не дать ему сыграть у меня в голове его номер из репертуара *«Шварце Шиксе»*. Все предельно ясно. Явились две важные персоны, известнейшие творцы «немецкого чуда». Им следует продемонстрировать, что мы владеем ситуацией, что с умственными способностями у нас полный порядок. Потом можно будет прибегнуть к их свидетельствам. Комиссар Шатц? Все нормально. Железная логика. Например, он только что спросил. . . Что? Что спросил? Ах, да. . .

– Так что же, по-вашему, означает убивать *естественным способом*?

Уфф! Я счастлив, что мне удалось уладить все по-хорошему. Ведь они способны опять попробовать на нем электрошок, а в последний раз. . . Меня передергивает. Вспоминать даже не хочется. Эти негодяи чуть не прикончили меня.

Граф объясняет:

– Я имею в виду, что Флориан не делал никаких движений, чтобы убивать мух. Они сами падали вокруг него мертвые.

– Даже так?

– Да. Это было крайне интересно. Стоило мухе оказаться вблизи него, и она падала мертвой. Комары тоже. И даже бабочки.

– Должно быть, от этого вашего егеря жутко воняло. Хотя если принять во внимание, что такая красивая женщина сбежала с ним. . . Действительно, это странно.

– Да, и еще цветы. Я совсем забыл про цветы. Иоганн, это садовник в замке, отзывался о нем весьма скверно. Он постоянно обвинял Флориана в том, что тот губит цветы. И даже неоднократно жаловался барону. . .

\*Национальная партия Германии, неонацистская партия, возникшая в 50-х гг.

– Не понимаю, какое все это имеет отношение. . . – начал было барон.

Комиссар поднимает руку:

– Уж позвольте мне судить. Так, вы говорите, цветы?

– Я наблюдал за ним. И знаете, я даже убежден, что он ничего не имел против цветов, даже очень их любил. Он постоянно заходил в розарий. Вот только если он оставался там, через несколько секунд цветы умирали.

– То есть как?

– Совсем как мухи.

– Однако же этот ваш егерь большой забавник.

– То же самое и птички. . . Когда он к ним приближался, они начинали петь – казалось, будто он по-особенному вдохновляет их, – а потом падали мертвые к его ногам. У меня сложилось впечатление, что он был очень этим опечален. Думаю, это у него нервное.

– Ну, а кроме этого, какие-нибудь еще столь же симпатичные черты характера у него наблюдались?

– Нет. . . Я ничего не заметил. Быть может, взгляд. . .

– Злой? Угрожающий?

– Нет, совсем напротив. . . Он смотрел на вас. . . как бы это сказать? С некоторой нежностью. . . да, вот именно, с надеждой. Знаете, такой ласковый. . . ободряющий взгляд, как будто он от вас многого ждет.

Комиссар хмыкнул.

– Должен признать, лично мне он отнюдь не был антипатичен. Мне даже приятно было сознавать, что он всегда в парке. . . Его присутствие было таким подбадривающим, успокаивающим. . . даже многообещающим. Сразу чувствовалось, что он очень услужлив. Он любил природу. Парк очень красив, и Флориана всегда можно было встретить в какой-нибудь аллее. Я иногда пробовал поговорить с ним – так было приятно завести с ним разговор на философскую тему. Странно, я только сейчас осознал, что меня всегда непреодолимо тянуло говорить с ним о философии. Он вежливо отвечал, но неизменно сохранял дистанцию. Раза два у меня возникало желание обсудить с ним проблему смерти. Но оба раза он чрезвычайно сдержанно уклонился. Да, держался он весьма почтительно.

– Ну да, не подавая виду, втихомолку готовил побег, – заметил комиссар. – Кстати, он ничего не прихватил? Я имею в виду, кроме баронессы?

– Ничего.

– Как он выглядит?

– Высокий, худой, лицо костлявое и, как я уже упоминал, без признаков возраста. Этакая вечная молодость. Да, одевался он немножко нелепо. . .

– Я многократно указывал ему на это, – вступил барон. – Он выглядел почти как те асоциальные типы, которых иногда встречаешь на улице. . . Ну, которые поджидают. . .

– Мы их называем сутенерами.

– Нет, нет, ничего общего у него с ними не было. Он казался человеком скорее культурным. Кстати, он очень любил поэзию. И всегда держал в кармане томик стихов.

– Одно другому не мешает. Можно быть последним мерзавцем и любить поэзию. Примеров тому сколько угодно.

– Мне представляется, со стихов все и началось. . . Я имею в виду, с Лили.

– С Лили?

– Так зовут баронессу. Она страстно любит великую лирическую поэзию. Я неоднократно был свидетелем, как они вдвоем в парке вслух читали стихи.

Для барона это, похоже, было потрясением.

- Дорогой друг, вы должны были бы сообщить мне об этом. Я положил бы этому конец.
- Но я не усматривал в этом ничего дурного. Мне кажется, комиссара это не убедило.
- И это все, чем они занимались вдвоем?
- Насколько я знаю, да.
- Разумеется. Итак, он никогда не давал вам никаких поводов для недовольствия. И казался вам скорей симпатичным.

Продолжить комиссару помешал телефонный звонок.

– Алло? Да. . . Спокойствие, спокойствие. Не нервничайте. . . Хорошо. Я записал. Вез штанов, штаны рядом, на лице выражение глубокого удовлетворения. . . Да знаю я, знаю. . . Итак, мы имеем двадцать четыре счастливых трупа. Да успокойтесь, сержант, никто не гарантирован, это может случиться и с вами. . . Не отчаивайтесь.

– *Хи-хи-хи!*

Я хихикнул. Это же я подсказал ему эту хохму, и хоть нехорошо смеяться над собственными шуточками, я не смог удержаться. Но поскольку этот сдавленный и, не будем скрывать, немножко визгливый смешок исходил из уст Шатца, оба визитера были несколько удивлены.

Шатц снова хохотнул, но уже собственным голосом, пытаясь как-то сгладить неловкость. Да, я переборщил. Я вовсе не намерен причинять ему новые заботы. Тех, что я уже ему устроил, мне вполне достаточно. Но вы же знаете, какие мы, евреи: протяни нам палец, мы всю руку оттяпаем. *Mea culpa\**.

---

\*Моя вина (*лат.*).

## 9. Шварце Шиксе

Жара просто чудовищная. И впечатление, что она все усиливается и усиливается. Шатц исходит крупными каплями пота. Он пристально, с подозрением смотрит на барона и в то же время ищет меня, пытаюсь понять, не замешан ли тут я. Но я тут ни при чем. Я безмерно счастлив, оттого что Лили прекрасно чувствует себя и Флориан по-прежнему опекает ее. Они прелестная пара, и, пока будет существовать человечество, они будут неразлучны. И я это говорю без всякой злости. Я тоже люблю красивые легенды, что бы вы там ни думали.

– Расскажите-ка мне еще про этого... Флориана. Он заинтересовал меня.

– Я очень редко видел его. Иногда он пропадал целыми месяцами. Но каждый раз, как я устраивал охоту, он оказывался на месте. Кстати, стрелял он превосходно, такого отличного стрелка я больше не встречал.

– Ага... Это уже интересно. А баронесса любила охотиться?

– Что вы! Она испытывала отвращение к охоте. Все ее интересы были только в сфере духовного.

– Я сформулировал вопрос достаточно деликатно, но если вы хотите, чтобы я поставил точки над «i»...

– Милостивый государь!

– Она была... требовательной?

– Ничуть. Она презирала драгоценности, туалеты. Любила искусство, поэзию, музыку, природу... У Лили были чрезвычайно скромные вкусы.

– Такие иногда бывает труднее всего удовлетворить. А этот егерь... он был ревнив? Он способен убить из ревности?

– Как это понимать? Что вам взбрело? Это возмутительно! Уж не думаете ли вы, что Лили может быть причастна к этим преступлениям? Она – урожденная Шлезвиг-Гольштейн!

– Знаете, Гогенцоллерны тоже были не такого уж плохого происхождения, но с четырнадцатого по восемнадцатый год погубили миллионы людей.

Барон возмущен до глубины души:

– У вас низменный, отвратительный, постыдный образ мыслей! Вообразить, что женщина столь высокого происхождения, поистине знатная дама, может иметь хоть какое-то касательство к этим ужасам... Я буду требовать вашего отстранения! Лили, моя Лили! Чистая, прекрасная, возвышенная...

– Любовники у нее уже были?

– Никогда! Вы отвратительны! Ей свойственны только самые изысканные чувства, это избранная натура. Мы принимали у нас величайших писателей, музыкантов... Культура! Вся ее жизнь была посвящена культуре! В конце концов, это всем известно. Спросите кого угодно. Необыкновенная эрудиция! Вагнер! Бетховен! Шиллер! Гёльдерлин! Рильке! Вот ее единственные возлюбленные! Она вдохновляла наших талантливейших поэтов! Оды! Стансы! Элегии! Сонеты! Они все воспевали ее красоту, ее благородство, ее бессмертную душу! Она служила примером для молодежи в наших школах. Да, несомненно, она внушала высокую любовь, но только на уровне духа! Уверяю вас, у Лили была единственная мечта, единственное устремление, единственная потребность... Культура...

Он прав. Стопроцентно прав. Культура. Когда мы под автоматами эсэсовцев копали себе могилу, я поинтересовался у своего соседа Семы Капелюшника, который копал рядом со

мной, что он об этом думает. Я повернулся к нему и спросил, может ли он мне дать такое определение культуры, чтобы я был уверен, что погибаю не зря, что, может быть, оставляю после себя какое-то наследие. Он мне ответил, но младенцы на руках у матерей – матери с детьми были освобождены от копания могилы – так верещали, что я не расслышал. . . Тогда, продолжая копать, он подмигнул мне, придвинулся и повторил: *«Культура – это когда матери с малолетними детьми освобождены от копания собственной могилы перед расстрелом»*. Да, это была отличная хохма, и мы с ним здорово посмеялись. Говорю вам, в мире нет лучших комиков, чем евреи.

– В жизни у нее была одна-единственная мечта: культура!

Но все-таки я был раздосадован, что это не я, а коллега придумал перед смертью такую отличную остроту. Я тоже попытался что-нибудь придумать, но тут нас как раз и расстреляли. Так что мне пришлось удовольствоваться визуальным проявлением, оскорбительным жестом. Потом, слава Богу, у меня появилось много времени, чтобы спокойно поразмышлять над вопросом, что в точности означает культура, и года примерно через два, читая газеты, я нашел довольно неплохое определение. В ту пору немецкая пресса была полна сообщениями о зверствах, совершенных дикарями симба в Конго. Весь цивилизованный мир негодовал. Ну так вот: у немцев были Шиллер, Гёте, Гёльдерлин, а у конголезских симба ничего этого не было. И разница между немцами, наследниками великой культуры, и некультурными симба состоит в том, что симба своих жертв съедали, тогда как немцы изготавливали из них мыло. *И вот эта потребность в чистоте и есть культура.*

## 10. Deutschland. Ein Wintermärchen

Я услышал смешок, вот только не знаю, кто засмеялся, он или я. Бывают такие моменты, когда я даже не знаю, кто из нас двоих думает, говорит, страдает, спит, и тогда Хаиму кажется, будто он продукт моего воображения, производное злобности нациста. Впрочем, мне весьма по сердцу эти краткие мгновения сомнений: может, ничего из всего этого никогда не происходило. И это просто одна из страшных сказок, вроде сказок братьев Гримм, сочиненных, чтобы пугать наших внучат. Мне пришло в голову название одной книжки еврея Генриха Гейне: «Deutschland. Ein Wintermärchen». Это означает «Германия, зимняя сказка». В лучших традициях «Пражского студента», «Доктора Мабузе», Гофмана и Шамиссо. Старинная немецкая фантастика, вымышленная история, получившая продолжение в экспрессионизме Гроса, Курта Вайля и Фрица Ланга\*. И коллективная ответственность Германии тоже сказка вроде коллективной ответственности Израиля за казнь Иисуса. Существует, к несчастью, ответственность гораздо страшней. Думаю, никто из нас не смог бы выдержать собственного взгляда, не опустив глаз.

Я ничуть не пытаюсь обелить себя, но бывают моменты, когда я просто не знаю, кто я. Шатц пытается все запутать, спрятаться во мне, чтобы защититься от моей настойчивости. Ему хотелось бы заставить вас поверить, будто он всего лишь призрак нациста, который внедрился в подсознание еврея. Чтобы избавиться от своего прошлого, для него все средства хороши. Надеюсь, вас не обманут эти хитрости Шатцхена, которому хочется вас убедить, что его не существует, что он – во мне. Он старается поднапустить тумана, но это трудное искусство, я бы сказал, высокое искусство, и, чтобы вытеснить меня, нужно быть гением. Иногда у меня возникает ощущение, что тут не хватит всех сокровищ Лувра, что моя голова прорывает холст и вылезает из какой-нибудь картины Рембрандта или там Вермеера, Веласкеса, Ренуара, как из вонючего канализационного люка в Варшавском гетто: ку-ку, вот он я.

Но в общем это нельзя назвать коварством. Я знаю, бывают моменты, когда Шатц искренне верит, что он уже не существует физически, что он полностью ассимилировался, а иногда он убежден, будто окончательно стал евреем. Когда он напивается, то начинает толковать о намерении уехать в Израиль и там обосноваться. А как-то утром я поймал его на поступке, совершенно невообразимом для бывшего нациста. Он спустил штаны, вынул член и долго с изумлением пялился на него: его удивило, что он до сих пор не обрезан. Ну, до такого я не дошел, и, кстати, если бы и захотел, то все равно бы не смог этого сделать; я могу проводить лишь психологическое воздействие, оказать моральную поддержку, но не больше. Впрочем, я упорно работаю в этом направлении, хочу доказать, что ассимиляция вполне возможна и «плохих», неисправимых немцев не существует. Нет, я вовсе не говорю, что бывший *Judenfresser* Шатц способен полностью перевоспитаться, однако могу, не хвастаясь и не льстя себе, утверждать, что он делает большие успехи. Однажды вечером я видел, как он робко кружил вокруг израильского посольства в Германии, но войти не осмелился. Ему

---

\**Грос, Георг* (1893-1953) – немецкий художник, график, начинал как экспрессионист (графическая серия «Лицо господствующего класса», 1921). *Вайль, Курт* (1900-1950) – немецкий композитор, автор джазовых опер и опер-зонгов, в частности «Оперы нищих» на либретто Б. Брехта. *Ланг, Фриц* (1890-1976) – немецкий кинорежиссер, один из представителей экспрессионизма в кино, снял несколько фильмов с главным героем доктором Мабузе. Фильм «Завещание доктора Мабузе» в 1933 г. в нацистской Германии был запрещен цензурой.

не хватало некоторого внутреннего соучастия, я бы сказал, расистского. Он надеется когда-нибудь натурализоваться в Америке, встать там во главе, скажем, тех американских евреев, которые старательно поддерживают негров в их гетто. С неменьшей охотой он поселился бы в Израиле: это было бы уже настоящей реабилитацией. По сути дела, Шатц таит надежду стать всеми, окончательно и бесповоротно обосноваться в нас и тем самым избавиться от комплекса вины. Возможно, он надеется когда-нибудь командовать нами. В конечном счете, ему, наверно, вполне было бы достаточно перестать быть антисемитом. Так он уже не антисемит. Это было не просто, можете мне поверить: еще долго после войны Шатц коллекционировал книги об «окончательном решении» и читал их взапой. Но это шло от ностальгии. Они напоминали ему о «добрых старых временах»; как вам, несомненно, известно, «Дневник Анны Франк» стал в Германии бестселлером. Но сейчас он готов пойти на уступки, от многого отказаться. Если Германии, чтобы стать собой, нужно будет отказаться от антисемитизма, она это сделает: это весьма решительная нация, которая не отступает ни перед какими жертвами.

Как видите, наши отношения совсем не простые, и близость наша отнюдь не безоблачная. Однажды Шатц сыграл со мной злую шутку: попытался еще раз убить меня. Он провел три недели в психиатрической клинике, где его лечили электрошоком. То есть просто-напросто попытался казнить меня электричеством. Я такое перенес. . . Это единственный способ, который не испробовали нацисты, чтобы уничтожить нас, но, оказывается, самый лучший. При правильном использовании электрошока в их мозгах не осталось бы и следа от евреев. К концу недели я стал таким доходягой, что у меня не было сил даже голову поднять. Нет, разумеется, я все время находился внутри моего друга, но до того расплывчатый, безучастный, почти невидимый, и думаю, это меня и спасло. Шатц меня больше не видел, и доктора объявили, что он выздоровел. Насвистывая, он вышел из клиники и вернулся к себе. Мне потребовались две недели, чтобы прийти в себя, но все-таки я смог явиться ему ночью, и должен сказать, был приятно удивлен его реакцией: он расхохотался. Сидел на кровати и покатывался от смеха, никак не мог остановиться; помню, соседи, которых он разбудил, стали стучать в стенку, чтобы он перестал хохотать. В конце концов ему удалось успокоиться; на следующий день он приступил к исполнению своих обязанностей и больше не пробовал избавиться от меня. Он просто внимательно следил, чтобы не выдать себя, чтобы никто не смог заподозрить, будто комиссар Шатц оевреился. И вот сейчас я с удовольствием наблюдаю, как он методично и въедливо ведет расследование. Что-то мне подсказывает, что это последнее расследование комиссара Шатца. Он об этом еще не подозревает, но дело это, которое началось давным-давно, самое серьезное, самое важное в его карьере. Я знаком с Лили, знаком с Флорианом, и никто лучше меня не знает, на что они способны. Да, это очень старое дело, оно уже давно пребывает в поиске собственного решения, и, похоже, у него есть шанс на скорое завершение. А кроме того, это, бесспорно, очень красивая история любви, она уже долгое время является источником целого моря произведений искусства, а также и рек крови; одним словом, в ней есть все, что нужно, чтобы превратиться в легенду. Я никак не могу избавиться от определенной симпатии к барону, наблюдая, как он с такой убежденностью и лиричностью рисует портрет Лили. И он прав. Она безумно красива. И столь же неотразима. Я, например, можете мне поверить, до сих пор люблю ее. И готов ей все простить. Когда дело касается Лили, я даже теряю свои комические таланты. Я скатываюсь в сентиментализм, в BLEЮЩУЮ лирику. И все время нахожу для нее извинения. Начинаю все валить на нацистов, коммунистов, индивидуалистов, обвиняю немцев, французов, американцев, китайцев. Поддельваю ей алиби. Я всегда готов свидетельствовать, что ее не было на месте преступления: она была в музее, в соборе, у Швейцера ухаживала за прокаженными или вместе с Флемингом открывала пенициллин. Я первый начинаю кипеть от негодования, стоит мне слышать голос, что она,

мол, сумасшедшая, нимфоманка. А все потому, что я до сих пор в нее влюблен и до сих пор думаю о ней. Любовь, что питаю к ней я, не только неистребима, но еще и возвышает все, к чему прикасается.

– Ну что ж, прекрасно, – с некоторым нетерпением произносит Шатц. – Она думает только о культуре. Ну а как насчет остального? У нее бывают какие-нибудь другие... желания?

– Она испытывает отвращение ко всякой вульгарности... к определенным отношениям... животного характера.

– Мужья частенько верят в это. А егерь?

– Он стал жертвой несчастного случая во время одной из облав во Франции... Какой-то преступно настроенный негодяй... Ну, вы понимаете, что я имею в виду.

– А какого черта его понесло во Францию?

– Ну как же... он ведь немец. Он исполнял там свой воинский долг.

– Но почему баронесса сбежала с евнухом?

– Понимаете ли... Мне представляется, именно потому, что он... он безобиден.

– В таком случае она вполне могла бы остаться с мужем.

Я фыркнул. Очень я был доволен, что сумел подsunуть эту хохму в лучших традициях «Шварце Шиксе». Шатц замер с открытым ртом, ужаснувшись тому, что он ляпнул. Оба аристократа вознегодовали:

– Милостивый государь!

– Милостивый государь!

Эти господа чудовищно ограниченны. Ей-богу, некоторые избранные натуры до того элегантно одеты, изысканны, застегнуты на все пуговицы, что порой задаешь себе вопрос, а не является ли искусство одеваться величайшим искусством на свете. Правда, Шатц обволакивает меня таким облаком перегара, что я только и вижу, что прекрасно сшитые костюмы графа и барона, – сами они как-то неразличимы. По сути дела, самое великое достижение человека все-таки одежда. Она отлично скрывает его. Ей-ей, я все больше и больше за Джоконду.

– Хорошо, хорошо, – успокоил их комиссар. – Я вас понял. Сейчас они вдвоем ходят по музеям, слушают Баха, читают друг другу стишки... А теперь, господа, прошу вас дать мне возможность поработать. В кои-то веки, может, единственный раз на свете появилась идеальная пара, фригидная женщина и евнух, и вы требуете, чтобы я своим вмешательством разрушил их счастье...

Барон раскричался, но его возмущенные тирады оказались заглушены шумом, доносящимся из-за двери; я услышал, как кто-то жалобным, запыхавшимся голосом умоляет: «Мне нужен господин барон, я должен поговорить с ним, это очень важно, позвольте мне войти», – и кабинет обер-комиссара полиции на Гётештрассе, 12, украсился новым и крайне трогательным персонажем, так как он привнес в наш старинный, прославленный, исторический гобелен обязательную и незаменимую частность: присутствие народа.

## 11. Простая душа

То был Иоганн, садовник из замка. Я его хорошо знаю: я завтракаю яйцами всмятку, но ем только самые свежие, и Шатц покупает их у Иоганна, а варит ровно три с половиной минуты, как я люблю. У меня на этой почве пунктик: стоит поварить чуть больше трех с половиной минут или чуть меньше, и Шатцу гарантировано расстройство желудка.

Иоганн – здоровенный крестьянский парень; глядя на него, возникает впечатление, будто он не знает, куда деть свои ноги: они у него немисливо огромные. Сейчас на нем соломенная шляпа, кожаный фартук, а физиономия – точно он чудом спасся из горящего дома.

– Господин барон. . . Ах, господин барон!

– Лили! – взвыл барон. – Что с Лили?

– Господин ба. . . ба. . . ба. . .

– Прекратите орать! – прикрикнул комиссар.

– Господин ба. . . ба. . .

– Да говори же ты, болван!

– Лили! Что с Лили? Нашли ее труп?

– Се. . . семнадцать! – взревел садовник.

– Двадцать четыре! – поправил его комиссар.

– Семнадцать! – стоял на своем Иоганн.

– Двадцать четыре! Вот у нас протокол. Все сияют, и все без штанов!

– А я вам говорю, семнадцать! Они везде! В доме Флориана. . . В оранжерее. . . По всему парку!

Воцарилось ужасающее молчание.

– Боже милостивый! – взревел Шатц. – Так это же совсем другие! Получается сорок один!

– Когда Флориан исчез. . . Мы вошли к нему в дом. . . А там. . . трупы! Ко-ко-кости! Они везде! В печи! В топке отопления! Жокей. . . Господин барон, помните Сандерса, жокея, который пропал? Он там! В своей жокейской форме, как на скачках! В той, в какой он скакал на кобыле господина барона! На нем цвета господина барона! А еще там почтальон с полной сумкой писем, велогонщик. . .

– Велогонщик? – вскричал комиссар. – Так это же Шприц! Помните, он совершал тур по Германии и так нигде и не финишировал!

– Трое пожарных. . . Четыре американских солдата, негры. . . Два шофера грузовиков. . . Шесть чистых салфеток. . . Одна лейка. . . Шесть чайных ложечек. . . Одна солонка и одна вилка. . .

– Пойдите! Пойдите! – закричал Шатц. Он был уже совершенно сбит с толку. – Вы хотите сказать, что она действовала солонкой и вилок?

– Кто – она? – возмутился барон. – Надеюсь, вы не имеете в виду Лили?

– Мой дорогой, мой бедный друг, будьте мужественны! – успокаивал его граф.

– Заместитель мэра. . . Водопроводчик. . . Шесть чистых рубашек. . . Ах, она была такая мягкая, такая добрая. . .

– Кто – она? – неистовствовал барон.

– Вы что, еще не поняли? – поинтересовался Шатц. – Мы имеем дело с нимфоманкой, которая никак не может получить удовлетворения, и ваш егерь, этот Флориан, убивает всех,

кто пытается совершить невозможное и постыдным образом терпит крах. Он карает их за их притязания. Это же ясно, как дважды два.

Нимфоманка, это слишком сильно сказано. Я нахожу, что Шатц не видит дальше собственного носа. Никому не запрещено иметь идеал, какие-то устремления и выкладываться, пытаюсь осуществить их. Можно ждать мессию, искать спасителя, харизматического вождя, сверхчеловека – всех названий не перечить. Но в таком случае остается только твердо заявить, что человечество – фригидная, свихнувшаяся баба, обреченная на неудачу. В конце концов, ведь есть же пример: Германия, которая мечтает, жаждет, ждет, делает попытки, терпит поражения, пробует вновь и вновь, и все безуспешно. Можно стремиться к абсолюту, к мировому господству – к окончательному решению, если угодно, – никогда не достичь его и в то же время не отчаиваться. Главное – это надежда. Нужно упорно продолжать, пробовать снова и снова. И однажды – получится. Это будет конец мечты, томления, конец утопии. Я не желаю, чтобы Лили оскорбляли. Ее нужно понять. Нужно уметь ее любить. Никто не умеет по-настоящему любить ее. Вот она и ищет. Отчаивается. Делает глупости. Да, да, ее нужно понять. Мы на идише говорим: понять – значит простить.

И опять настало гробовое – это слово как нельзя больше подходит тут – молчание. Однако барон никак не желает признать очевидное. Он сидит, хлопает глазами и упорно отказывается понимать.

– Согласен, Флориан, возможно, и есть убийца, но это доказывает только одно: моя жена подвергается страшной опасности.

– Да, подвергается, это вы точно, вот только чему...

А честняга Иоганн знай тянет свою эпопею:

– А в оранжерее, господин барон... Что в оранжерее! Они даже не успели спрятать их! Там так пахло... такими сладкими духами... Я сразу узнал: это духи госпожи баронессы! Я только вошел, и они сразу окутали меня... Их там было четверо... Она только что была с ними... А какие лица!.. Какие лица, господин барон!.. Господин барон даже представить этого не может... А глаза! Можно подумать, они такое увидели... Она им показала такое... Такое... такое прекрасное... Вот это самое... Она с ними... Ну, то самое, чего мужчина ждет и ищет, с тех пор как он существует... Настоящий рай... настоящее райское наслаждение для каждого... с каждым... Они видели... она дала им... увидеть, почувствовать, и то, что они получили, это вовсе не опиум для народа!

И тут садовник Иоганн прослезился:

– Как чудесно знать, господин барон, что это существует! Истинное слияние! Истинней быть не может! Единственное! Дивное! Клянусь вам, господин барон, они имели, имели, тут нет никакого сомнения, от них так сладко пахло! Оказывается, это так просто, так и хотелось лечь с ними рядом и дать себя убить, лишь бы только попробовать...

Хюбш стоит, наклонясь вперед, и лицо его подергивается от нервных спазмов.

– Без штанов? – кратко осведомился комиссар.

– Все! Все без штанов! И улыбаются!

– Что? – бросил граф. – Что вы такое несете?

– Это немыслимо! – воскликнул барон. – Я сплю! Хотя нет, я не способен видеть подобные сны. Это не я сплю. Это какое-то низменное, дегенеративное животное, зараженное отвратительными, чудовищными болезнями! У нас у всех тут приступ белой горячки!

Иоганн молитвенно сложил руки перед грудью. У него сладостное, разнеженное лицо.

– И все без штанов! Счастливые пташечки!

– Пташечки? – переспросил комиссар. – Какие пташечки? Откуда взялись пташечки?

– Крохотные птички, прикорнувшие в своем гнездышке, и такие довольные-довольные!

- Этот грязный еврей продолжает подрывать наши моральные устои! – рявкнул Шатц.
- Какой еврей? – удивился барон.

И вот тут Шатц сорвался. Да, неосмотрительно, но, может, он все-таки удержится и не начнет выкладывать все подряд? А то ведь кончится тем, что они упрячут его в клинику и станут пичкать, чтобы прикончить меня, новыми наркотиками. Я попытался его удержать. Но он уже был так раздражен, что начисто позабыл все наши хитрые правила, наше искусство проскальзывать в тени по просторам истории, утратил знаменитый инстинкт самосохранения, который мы до невероятности развили в себе.

– Как это – какой? – заорал он. – Да все тот же! От этого просто воняет вырожденческим искусством, – *диббук, Голем*, фантастика пражской школы, они возвращаются! Господа, я вас предупреждаю: мы все оказались в лапах третьеразрядного паяца по имени Чингиз-Хаим, который выступал со своим непристойным номером в еврейских кабаре. А сейчас он отплясывает свою *хору* на наших головах.

Ну, этого я уже не мог вытерпеть. Пританцовывая, я исполнил перед Шатцхеном ускоренный выход. Он замер с открытым ртом, глядя куда-то в пространство. Он-то прекрасно знает, что это не сон, это кошмар, иначе говоря, реальность. Спиртное придает расследуемому делу дурную, искаженную, ирреальную окраску, но тем не менее о нем кричат газеты всего мира на первых страницах, так что напрасно щипать себя, чтобы проснуться. Это реальность. И она становится все очевидней, бросается в глаза, потому что сорок один труп – вот они, их можно пересчитать, можно представить. Они фигуративны. Вот если бы их было пятьдесят миллионов, то очень скоро о них перестали бы говорить. Потому что это была бы уже чистая абстракция.

А комиссар как раз и производит подсчет:

– Двадцать четыре в лесу и на дорогах плюс семнадцать в парке, получается ровно сорок один. . .

– Плюс солонка, плюс. . .

Барон, похоже, признал очевидное.

– Боже мой, – простонал он, – моя жена обманывает меня!

– Ну наконец-то, – бросил комиссар. – Он начинает понимать.

Садовник Иоганн опустил на стул. Он вертит в руках соломенную шляпу. Взор его увлажнен слезами. Взор устремлен вдаль, в бесконечность. Это чистая простая душа. Иоганн знает, что нужно мужчине для счастья. Он видит этот маленький абсолют, единственный, которого можно достичь, бесконечно прекрасный и такой нежный, покрытый мягоньким пушком, чирик-чирик, который поет, призывает, обещает. Нечто надежное, позитивное, чем можно обладать. Вот он. Иоганн хочет, очень хочет. Он указывает пальцем в пространство.

– Это есть, есть! Золотистое, сияющее, и птички порхают и поют, а вокруг лужайка, и это такое жаркое, сладкое, щебечет и ласкается. . .

Писарь окаменел. В нем чувствуется такая непреклонность, что на мысль невольно приходят доисторические изваяния древних языческих религий. В нем безмерная мужественность и потенция, жаждущая устремиться к идеалу, получить удовлетворение, победить, осуществить. . . Весь он сейчас некая чудовищная эрекция: подлинный создатель. Пенсне на носу блестит, узел галстука подпрыгнул и вдруг оказался у него в глотке. И внезапно я обнаружил потрясающее фаллическое его сходство с Гиммлером: просто одно и то же лицо. И словно при вспышке молнии, увидел сто тысяч таких вот негибаемых, вставших под знаменами Нюрнберга, сто тысяч застывших в эрекции и вопящих «Sieg Heil!», готовых войти, вонзиться. Мне стало жутко.

Да, я за Джоконду.

## 12. Возвращение к истокам

Жарища стоит такая, что я чувствую, как по спине у меня бегают ледяные мурашки. Воняет псиной, козлом, сверхсамцом, слипшимися телами; чувствуется, как готовится новый исторический гон, а она кружит, ищет и, быть может, вот-вот найдет. Депутат от НПП Фасбендер уже бросил журналистам многообещающую фразу: *«Скоро у вас пройдет охота смеяться над нами!»* Уже социалист Вилли Бранд, которого обвиняют в закоренелом антинацизме, вынужден войти в правительство Кизингера, чтобы реабилитировать себя. Лили, должно быть, млеет от этого решения, мужественного проявления воли преодолеть более чем двадцатидвухлетний упадок. Она вечно верит обещаниям, и вечно у нее ощущение, будто они вот-вот исполнятся. . . В этом ее убеждает плакат, который можно увидеть на любой улице: *«Германия должна снова стать собой»*, и она опять надеется; у нее такая короткая память, она забыла, что в последний раз у сверхмужчин, несмотря на всю проявленную ими мощь, ничего не получилось, и они отступились, побежденные, разбитые, с большими потерями. Но это ничего, травка снова отросла, а это уже обновление. Приостановлено отступление, с упадком покончено, мужественность опять восстает, напрягается, обретая новый всевластный идеал; это значит «сабли наголо» для защиты истинной веры, это трубят боевой сбор. Классицизм опять повсюду поднимает голову, и опять все то же самое: обновление всегда начинается с возвращения к истокам. Уже восторженная толпа в деревне Обераммергау\* устраивает бешеную овацию «Страстям» в классической, выдержанной в лучших наших традициях постановке, где вновь обретенные мощь и вдохновение свершают истинное чудо, истинное Воскрешение, правда, пока еще не Христа, но все же того мерзкого еврея, который возрождается из германского пепла, восстает из печи крематория и провожает Господа нашего Иисуса в газовую камеру. Да, да, историческая подлинность. Я по-настоящему растроган. Мне нравится это уважение к нашим неоспоримым достоинствам, уважение к главе семейства. Они вновь обретают ценность. А на меня всегда действовали чудеса веры. В очередной раз истина приходит к нам из трупарни. Немцам из Обераммергау осточертели за двадцать лет упреки, и вот они засучили рукава, взяли за дело и воскресили еврея, в уничтожении которого их винули. Они вернули мне место, которое я занимал на протяжении тысячи лет, возродили меня, в точности такого, каков я есть; создавая мой облик, не упустили ничего – ни плевков на лице, ни низости, ни подлости; чувствуется опытная рука, неподдельное классическое вдохновение. Конечно, нелегко было найти среди славных селян из Обераммергау актера, который воссоздал бы реалистический образ – с настоящим еврейским носом, настоящими ушами, взглядом предателя и классическим похотливым ртом, отображенным в религиозной живописи. Кстати, если капелька антисемитизма еще и существует на свете, то только из любви к святыням.

И я задаюсь вопросом, а не получит ли это дальнейшего развития. Я боюсь самого худшего: боюсь братства. Они способны на все. Еще как способны объявить меня своим. Идем с нами, еврей: ты из наших. До сих пор нас уничтожали, но по крайней мере не давали возможности быть на стороне сильного. Так мы смогли избежать принадлежности к рыцарству. Объявили, что мы недостойны носить меч, оставили нам торговлю и ростовщичество, но тем самым мы сумели избежать бесчестья. Тщетно искать нас среди их крестоносцев, Святых Людовиков, Симонов де Монфоров, Наполеонов, Гитлеров и Сталиных. Мы были исключены из дворянства. Золотые легенды, великолепные исторические гобелены – это не про нас. Но

\* Деревня в Баварии, знаменитая своим народным театром, постановками религиозных мистерий.

сейчас над нашими головами нависла абсолютная угроза: перед нами настужь распахиваются ворота рыцарства и триумфальные арки. Достаточно ли живуч обретенный нами опыт, достаточно ли прочно укоренился он в нашей памяти и нашей плоти, чтобы помочь воспротивиться этому соблазну? Не хочется даже думать об этом. Да мне и незачем об этом думать. Будущее, слава тебе Господи, не для меня. Я принадлежу прошлому. Я не слишком значительный автор и исполнитель старых еврейских бурлескных сценок, которого критиковали чуть больше, чем других, и если вы не очень молоды и интересовались фольклором Варшавского гетто, то, вполне возможно, вы видели меня в «*Шварце Шиксе*», в «*Мотке Ганеф*» или в «*Митторништ Зорген*». Возможно, я имел честь смешить вас моими пейзажами, моими ушами, моим носом, и сейчас вам, быть может, стыдно, что вы смеялись надо мной. Не огорчайтесь. Я вам скажу, что я думаю: человеку свойственно смеяться.

### 13. Она мне не по силам

Как видите, несмотря на все мое легкомыслие, у меня тоже свои неприятности, свои цорес. К счастью, садовник Иоганн оторвал меня от размышлений. Простая душа, он обладает редкостным даром сводить абсолют к пропорциям, близким человеку; я бы даже сказал, что Иоганн приводит абсолют к самому что ни на есть обнаженному и скромному его выражению. Вот он прижимает к груди соломенную шляпу и с пылом и простодушием подлинного визионера указывает пальцем на что-то, зримое лишь ему одному:

– О, до чего это красиво, до чего сладостно. . . Ах, госпожа баронесса! Ах, сладкий пушок, дивное гнездышко! Смотрите, оно такое белокурое, такое золотистое!

– Нас толкнули в грязь! – вопит барон. – Нас втаптывают в нее! Я чую ядовитые миазмы неслыханной порнографии, отвратительной непристойности!

Я принял: и впрямь чуть попахивает газом. Ничего особенного: ласковые дуновения, зефиры, едва заметный след прошедшей принцессы из легенды и ее былых возлюбленных.

– Как она милосердна! Как нежна, как щедро дает, как великодушна! Как ей нравится дарить счастье! У них у всех, господин барон, такой довольный вид! Но только. . . Ну почему все другие, кроме меня? Почему лейка, солонка, шесть пар полуботинок, велосипедный насос и сумка, набитая свежей почтой, а не я?

– Он чокнулся на этом, – заметил комиссар. – У него травматический шок.

– Лили, моя Лили, – всхлипнул барон, – вела двойную жизнь!

– Двойную? – переспросил комиссар.

– Возьмите себя в руки, дорогой друг, – умоляюще простонал граф. – Сберегите все свое доверие, всю свою любовь к ней! Я убежден, что она это делает из самых высоких побуждений. Кто знает, может, тут замешаны государственные интересы? Не забывайте, что во время войны нам тоже пришлось совершать некоторые предосудительные поступки. Нами двигали идеологические мотивы!

– Двигали! Двигали! Двиигали! – взревел комиссар.

– Да, вы правы, – согласился чуть успокоенный барон. – Лили всегда стремилась к возвышенному и прекрасному. . .

– *Хи-хи-хи!*

– Прекратите, Хаим! Хватит! Вы все время пытаетесь представить нас негодяями! В конце концов, это провокация!

Писарь грызет ногти, но чувствуется, он полон честолюбивых планов. В этом бюрократе таится фанатик. Его готовность отдаться великому делу просто бросается в глаза. Чтобы повести это мужское начало к его цели, нужен фюрер. Следовало бы покончить с мягкотелой демократией, вручить власть НПП, убедить Вашингтон дать ей в руки ядерный меч, завоевать восточные земли и без колебаний вторгнуться в Польшу. Слабенькой эрекции в земле Гессен и в Баварии явно недостаточно. Хюбш зачарован, всем своим существом устремлен к абсолюту, так вытянулся по стойке «смирно», что в воздухе уже чувствуется мужской дух безоговорочных побед и окончательного удовлетворения, полный конец всяких там интрижек, ухаживаний, нежностей, томлений. «*Könnst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunkeln Laub die Goldorangen glühen. . .*»\* В Марцоботто в Италии две тысячи женщин и детей были

\*«Ты знаешь край лимонных рощ в цвету, где пурпур королька прильнул к листу. . .» – строки из стихотворения Гёте «Миньона», перевод Б. Пастернака.

уничтожены сверхсамцами в последнем приступе мужественности.

А садовник Иоганн продолжает подливать масла в огонь:

– Ах, этот прелестный пушок, миленькая маленькая мордашка, вся такая розовенькая, ах, какое оно мягонькое, какое нежненькое, какое лукавое. . . Я тоже хочу! О, до чего я хочу!

Это очень трогательно, потому что исходит от простого народа. Не от пролетариата, не от буржуазии, а от прослойки между ними, и до чего же утешительно, что в ней тоже хотят. Принцесса из легенды может быть спокойна. Она никогда не будет испытывать недостатка в том, что ей нужно. Они будут шагать в железном строю, исполненные отваги и великодушия, и позволят убить себя, ради того чтобы удовлетворить ее.

А писарь даже язык высунул, все его гормоны клокочут и бурлят. Комиссар ударяет кулаком по столу:

– Хватит, Хюбш! Успокойтесь! Эта женщина – отравительница! Нас пытаются растлить. Это китайцы! Говорю вам, это все китайцы! У них появилось секретное оружие. Газ! Он вызывает состояние паралича, люди застывают и не способны двигаться. А они в это время сбрасывают парашютистов! Мне все ясно, здесь происходит нечто подозрительное.

Но я не даю ему сообщить, что именно.

Граф вставил в глаз монокль:

– У Флориана должны быть какие-то серьезные причины.

– Все, хватит! – рявкнул комиссар. – Хватит порнографии!

– Если он убивает и если убийца действительно он, то, значит, у него, вне всяких сомнений, есть причина. Я бы даже сказал, благородный стимул. Этот парень мне всегда казался идеалистом. И я убежден, что он не способен убивать, не имея на то возвышенных мотивов.

И тут появился я. Как только начинают ссылаться на *причины массовых убийств*, тут же появляюсь я. Я предпочитаю быть убитым без каких-либо причин, без всяких извинительных обоснований, это меня не так возмущает. Но чуть только ссылаются на доктрину, идеологию, великую цель, немедленно появляюсь я с желтой звездой и лицом в известковой пыли. Мой друг Шатцхен глянул на меня, и во взгляде его читалось что-то смахивающее на отчаяние. Зря это он. Отчаиваться никогда не стоит. Надо действовать решительней, вот и все. Не ограничиваться расой, классом, страной. Соединить это все в единый узел. Лили – натура не мелочная.

– А вы. . . вы. . . убирайтесь отсюда, – обращается ко мне Шатц. – Я уже по горло сыт вашими появлениями, Хаим. Я это называю эксгибиционизмом. Вы вконец осточертели нам с этими угрызениями совести! Только в детективных романах преступники возвращаются на место преступления.

А Шатц и впрямь не лишен *хуцпе*. На меня это, ей-ей, произвело впечатление.

– За четверть века вы и без того изрядно напакостили нам своей пропагандой. Я готов все простить, но при условии, что вы прекратите докучать нам! Ясно? Хватит жить с призраками! Знаете, что я вам скажу, Хаим? Вы вышли из моды. Устарели. Вы намозолили глаза человечеству. Оно жаждет нового. И не желает больше слышать про ваши желтые звезды, печи крематория, газовые камеры. Оно жаждет чего-нибудь другого. Новенького. Жаждет идти вперед! Аушвиц, Треблинка, Белзен – все это становится банальностью. Молодежи это уже ни о чем не говорит. Молодые пришли в этот мир с атомной бомбой, у них в глазах солнце. Для них эти ваши лагеря уничтожения такая серость! Хватит с них неумелой халтуры! Они объелись нашими дуростями с евреями, всеми этими лужицами, которые мы наделали. Так что перестаньте вы цепляться за вашу кубышку, за этот жалкий капитал страданий, перестаньте интересничать. Привилегии, избранные народы – скоро ничего этого не будет. Их уже

больше двух миллиардов, дружище. Так что на кого вы пытаетесь произвести впечатление несчастными шестью миллионами?

*Хана.* На этот раз он нанес точный удар. Вынужден признать, что я утратил капитал. Лили мне не по силам. Она очень знатная дама, принцесса, и имеет право быть требовательной. Так что я уже ничто. Жертва инфляции. И я вдруг почувствовал себя обанкротившимся, таким махоньким-махоньким. Того, что я с такими трудами копил в течение столетий, уже недостаточно. Сейчас она может получить сто, сто пятьдесят миллионов, всего лишь нажав на кнопку. Целые кварталы, да что там, целые города. Я полностью обесценился, курс мой упал до нуля, и я уже не имею хождения. Громадным усилием воли я собрал остатки собственного достоинства, остатки престижа, проковылял в уголок и надулся. Что ж, она больше не хочет меня. Она хочет китайцев, пускай. Я знаю, что это. Это антисемитизм, вот что это такое.

## 14. Нимфоманка?

Шатц почувствовал себя немножко лучше и вновь воспрянул духом. Меня он уже не видит. Он потирает руки и даже пытается напевать. Он вышел из состояния навязчивых галлюцинаций, в каком пребывал, и обрел контакт с реальностью. Без параноидального обобщения смотрит ясным взором ей в лицо и видит вещи такими, какие они есть, то есть видит аристократа-рогоносца, нимфоманку, солонку, лейку, шесть чайных ложечек, Джоконду, убийцу, который убивает направо и налево без какой-либо четко различимой политической программы, еще теплый труп почтальона с сумкой, набитой почтой, друга семьи и несчастного садовника невеликого ума, который видит принцессу из легенды без трусиков и которого подобное видение абсолюта привело в состояние эротического ошаления. И сверх всего этого оторопевшее лицо Микеланджело, вылезшего из канализационного люка в Варшавском гетто. Так что ничего удивительного, что Шатц не доверяет реальности: у него ощущение, что это всего лишь прегромадное свинство, которое ему подстроили. Но в любом случае одно совершенно бесспорно: принцесса из легенды служит приманкой, носик у лейки кривой, солонка всего лишь для отвода глаз, и все эти вещественные доказательства свидетельствуют о коварном и злобном искусстве, стремящемся запятнать и растлить, о подлинном возобновлении пожара декадентствующего экспрессионизма. Необходимо будет укрепить заслоны, пересмотреть учебники истории, призвать союзников во всех пока еще здоровых странах, осудить на вечное забвение Папу Иоанна XXIII и при случае напомнить, что у него жидовский шнобель.

В дело, если обо мне говорить, я не мешаюсь. Оно прекрасно идет само. Но все-таки Иоганн меня растрогал чуть ли не до глубины души: я люблю визионеров. Красота действует на всех нас и всех слегка волнует; но проблема не в ней как таковой, меня потрясает ее грандиозность.

– Эй, садовник! Садовник! – кричит комиссар. – Нету там ничего на горизонте! Хватит пялиться! Это у тебя в голове.

– Как же, господин барон, а лейка? Надо видеть, в каком она состоянии! Вся помятая.

– Что? – удивляется граф, но видно, что это произвело на него впечатление.

– Хватит, Иоганн! – взрывается барон. – Вы говорите о моей Джоконде. . . О какой Джоконде? Кто мне ее подсунул?

Я потираю руки. Ничего особенного, у меня дар чревовещания, не талант, конечно, но ведь талант, можете мне поверить, не такое уж большое дело. Посмотрите Ван Гога. Нет, такого я не пожелал бы своим лучшим друзьям.

– И шесть пар полуботинок, до блеска начищенных, а в них никого! Улетучились! Все растаяли от счастья! Все, кроме меня. Ну почему, господин барон, она не хочет меня? Почему лейка, а не я? Потому что она презирает сына народа? Оторванный разбрызгиватель, расплавленная резина, энциклопедия Ларусса, но не я. . . Это несправедливо, господин барон! Я хочу только услужить. Никто не имеет права так обращаться с трудящимся!

Шатц весь в деле. Наконец-то он знает виновных и не позволит им ускользнуть. Это дело всей его жизни, и он твердо решил не провалить его. Шатц хватает со стола фото Лили, подзывает Хюбша, отдает распоряжения:

– Всюду разошлите приметы этой женщины. И предупредите всех мужчин, которые в состоянии. . . носить оружие, поодиночке ни под каким видом не приближаться к ней без предписания военных властей или приказа о мобилизации. . .

– Как – мобилизации? – удивился граф.

– Повторяю: чтобы никто не смел коснуться ее без приказа о мобилизации или призыва добровольцев! Запрещаю даже приближаться к ней, ясно? Она взбесилась.

– Что? – взорвался барон. – Взбесилась? Лили взбесилась? Милостивый государь, я требую удовлетворения!

– По всему похоже, она тоже его требует. Гут, будьте крайне осторожны. Мы имеем дело с опасной нимфоманкой.

– Милостивый государь, вы говорите о знатной даме!

– Знаю, знаю. Из очень древнего рода. Кругом соборы. Симфонии. Библиотеки. Видимо, этого ей недостаточно.

– Она урожденная. . .

– Шлезвиг-Гольштейн.

– Ее семью знают и уважают во всем мире. Среди ее членов насчитываются. . .

Комиссар трахнул кулаком по столу.

– Черт бы вас побрал! – только и произнес он.

– Гутенберг, Эразм, Лютер, двадцать два Папы, прославленные ученые, солонка, велосипедный насос. . . тысячи благодетелей человечества!

– Да, да, там не хватает только благодетелей. . .

– Она в родстве с Альбертом Швейцером! Он всем сердцем любил ее. Нобелевские премии, гениальные писатели. . . Лили! Моя Лили – нимфоманка? Я отказываюсь в это верить. Моя Лили не способна обмануть меня. Кстати, может, вообще ничего этого не произошло. Нет никаких доказательств. . .

Я беру газету, лежащую на стуле, и кладу ее на письменный стол. На первой странице фотографии из Вьетнама: раненые дети, горящая деревня. На самом-то деле газету я не брал, она уже лежала на столе. Просто я тихонечко подвинул ее к комиссару и ткнул пальцем в фотографию. Чтобы помочь ему. Раз уж избранные природы жаждут доказательств, вот они. Но моя попытка помочь, не знаю почему, вывела Шатца из себя.

– Ну нет! Вьетнам тут ни при чем, это Америка! И вообще, что это все значит, Хаим? Чего вы всюду лезете? Во Вьетнаме нет евреев! Он вас не касается!

Барон вознегодовал:

– Господин комиссар, при чем здесь Вьетнам? Не вмешивайте в это Лили! Ее ноги там никогда не было! Почему бы вам в таком случае не обвинить ее в том, что она распяла Христа?

Комиссар Шатц даже не обратил на него внимания. Он уже на пределе. Все эти книги, документы, воспоминания спасшихся от уничтожения, и вдобавок еще его личный еврей, который не отступает от него ни на пядь, несмотря на психиатров и спиртное. Нет, это слишком затянулось. А может, ему не надо было двадцать два года назад командовать «Feuer!»? Но он был молод, верил в идеалы, в то, что он делает. Сегодня он так бы не поступил. Если ему еще раз дадут шанс, когда к власти придет НПГ и герр Тилен даст ему приказ крикнуть «Feuer!», уж он-то, Шатц. . . А действительно, что он сделает? Взглядом он ищет меня, но я отнюдь не горю желанием давать ему совет, а то потом станут вопить, что мы, евреи, снова подрываем чувство дисциплины и моральный дух немецкого народа.

Шатц поднимает голову и осматривает кабинет глазами раненого быка. Он даже не пытается скрывать меня. Да и чего ради? Он прекрасно понимает, что потеряет должность, а возможно, его упрячут в психиатрическую лечебницу. Комиссар Шатц сошел с ума, с жалостью будут говорить о нем, в результате преследований со стороны евреев. Но Шатц знает, что он никакой не сумасшедший. Знает правду о себе и знает, что правда эта ужасна.

## 15. Диббук

Нет, пожалуй, такого в нашей истории, в наших верованиях, о чем бы я не поведал моему другу Шатцу, так что ему прекрасно известен феномен, который знают и с которым сталкивались все, кто изучал наши традиции, а именно *диббук*. Для комиссара первого класса Шатца отнюдь не тайна, что в него вселился *диббук*. Это злой дух, демон, который овладевает вами, поселяется в вас и управляет вами как хочет. Чтобы его изгнать, нужны молитвы, нужно, чтобы десять благочестивых, почитаемых, известных своей святостью евреев бросили на чашу весов свое влияние и принудили беса бежать. Уже неоднократно Шатц ходил кругами у синагоги, но так и не решился зайти. Пожалуй, впервые в истории философии и религии в чистокровного арийца, бывшего эсэсовца, вселился еврейский *диббук*. Короче, это я должен был бы подать голос, сам найти раввина и умолить его избавить меня от моей разнесчастной судьбы, то бишь от необходимости постоянно угрызать немецкую совесть. Вот почему Шатц, как правило, заботится обо мне. Он хочет меня умаслить. Хочет, чтобы я освободил его от себя под предлогом, что я, дескать, сам желаю освободиться от него. Но сейчас под воздействием алкоголя и злости он поистине утратил всякое соображение и осторожность. Он уже не контролирует себя. И даже не обращает внимания на то, что другие видят, как он разговаривает с кем-то невидимым, кого нет.

– Вы, Хаим, злоупотребляете своим положением. Во-первых, я прошел денацификацию. У меня есть документы, подтверждающие это. А во-вторых, я должен вам сказать, что пью я не для того, чтобы вспоминать, а для того, чтобы забыть! Запомните, Хаим, люди пьют, чтобы *забыть*. Так что убирайтесь отсюда, да поживей. Это уже начинает смахивать на шантаж. Вы устраиваете провокации. Как-нибудь я окончательно разозлюсь и докажу вам, что, несмотря на ваше специфическое положение, вы вовсе не являетесь неприкасаемым. Я вам так начищу морду... Вот тогда-то вы убедитесь, что никаких угрызений совести у меня и в помине нет. Что-что, а это у меня тверже утеса!

При этих словах граф бросает сочувственный взгляд на своего друга.

– В доме повешенного не говорят о веревке, – бормочет он.

– Позвольте, позвольте! – возмутился барон. – Попрошу без недостойных намеков! У меня с женой великолепные отношения!

– *Хи-хи-хи!*

Я так-таки не удержался: не пожелал бы я своим лучшим друзьям таких отношений.

– Я протестую! – раскричался барон. – Я не позволю оскорблять себя.

– Убирайтесь, Хаим! – обращаясь к самому себе, произносит комиссар и величественным жестом указывает на дверь. – Думаете, раз кое-где накарябали свастики да осквернили несколько жидовских могил, значит, в Германии опять возникла потребность в вас и вы можете оказаться ей полезны?.. Выметайтесь отсюда!

– У него галлюцинации, – объявил граф.

– Киса, киса! – мурлыкает Иоганн, грозя пальцем маленькому миленькому абсолюту, который ему видится во всей отчетливости.

Шатц прячет лицо в ладони.

– И выпить уже спокойно нельзя, – бурчит он.

– Вам бы надо остановиться, – порекомендовал граф. – У вас уже *delirium tremens*\*.

\*Белая горячка (*лат.*).

– Счастливики, когда у них *delirium tremens*, видят пауков, змей, мышей, а я . . .

И он бросает на меня злобный взгляд, в котором так и роятся свастики.

– Я вижу такую сволочь . . .

Он оттолкнул меня, горестно вздохнул и позвонил. Вошел полицейский и вытянулся по стойке «смирно»:

– Слушаю, шеф.

– Да нет, ничего. Я просто хотел увидеть что-нибудь здоровое, простое, чистое . . .

– Благодарю, шеф.

Полицейский козырнул, сделал поворот кругом и вышел. Оба врача – теперь Шатц полностью уверен, что это психиатры, которых на него предательски навела фрау Мюллер, – стоят в полнейшей растерянности. Ничего подобного они до сих пор не видели. За всю их профессиональную карьеру им еще ни разу не попадался бывший ээсовец, в которого вселился еврейский *диббук*. Да они даже не знают, что дело тут в *диббуке*. По их убеждению, у комиссара, вне всяких сомнений, приступ галлюцинативной паранойи, причина которой в тяжелом историческом опыте. Однако больной являет собой этически весьма щекотливый случай. Шатц понимает, что оба психиатра, которым известен прецедент, созданный доктором Менгеле и врачами-убийцами, сейчас задаются вопросом, имеют ли они право исцелить немецкого гражданина от угрызений совести и не может ли эвентуальное подавление комплекса вины рассматриваться как возрождение нацизма. Есть ли у немецких врачей право ликвидировать еврейского *диббука*? Нет никакого сомнения, что с чисто национальной точки зрения окончательное решение проблемы, поставленной наличием шести миллионов психопаразитов в немецком сознании, в высшей степени желательно, это труд по оздоровлению общества. Существуют новейшие наркотические препараты, в частности прамазин, и применяемые в больших дозах они чрезвычайно действенны в подобных случаях. Но решение должно быть принято на самом верху, никак не ниже правительственного уровня. Большая коалиция обязана взять ответственность на себя. Национальные партии уже громогласно требуют решительной ликвидации этих психопаразитов, которые ввергают страну в состояние полнейшей импотенции и не прекращают свою пропаганду за ее пределами. Впрочем, всему миру известно, что евреев никто не убивал. Они умерли *добровольно*. Я слежу за всеми новинками, можете мне поверить, только это и делаю, и буквально только что обнаружил в книге некоего Жана Франсуа Стейнера «Треблинка» весьма доказательные утверждения: мы, оказывается, выстраивались в очередь в газовые камеры. Да, кое-где *in extremis*, то есть в последний момент, кое-кто пытался возмутиться, в Варшавском гетто в частности, но большинство, как правило, выражало полную готовность, послушание и волю к уходу из этого мира. Потому что была жажда умереть. Это было коллективное самоубийство, ни больше и ни меньше. Вскоре кто-нибудь скажет полную правду о нас. Новый *бестселлер* наглядно докажет, что нацисты были всего лишь орудием в руках евреев, которые желали умереть, *но при этом предстать жертвами*. Покончить самоубийством собственными силами они не могли, так как в этом случае не выплатили бы страховку и оставшиеся в живых не получили бы возмещения убытков. Нет, самое время появиться человеку, который напишет правдивую книгу, в которой выявит, как мы манипулировали немцами, чтобы исполнить свою мечту о самоуничтожении и в то же время вынудить возместить нам нашу гибель. Сыщется, сыщется автор, который разоблачит сатанинские ухищрения, к каким мы прибегли, превратив нацистов в наше слепое и послушное орудие.

– Ноги . . . – пробурчал комиссар.

– Что вы говорите?

– Я чувствую у себя на лице огромные, волосатые ножищи обрезанного . . .

– У него галлюцинации. Это уже последняя стадия.

– Они топчут мне грудь, сердце... Ножищи, грубые, безжалостные ножищи... Чего вы от меня хотите? Я был дисциплинированный, старательный исполнитель. Я крикнул «Feuer!», потому что у меня был приказ! Мне приказывали! Приказывали, Хаим! Я всего лишь выполнял свой долг. Я желаю раз и навсегда быть очищенным от всяких обвинений. Единственное, чего я хочу, чувствовать себя чистым.

Чистым? Очень хорошо, рад услужить. И я тут же предстал перед Шатцем и протянул ему мыло. Мне нравится оказывать услуги, я – услужливый *диббук*. Комиссар глянул на мыло, взвыл, вскочил, опрокинув стул.

– Мыло? Зачем мыло? Нет! Уже двадцать два года я не пользуюсь мылом: *никогда ведь не знаешь, кто там в нем*.

Но я все так же услужливо протягиваю ему мыло. Комиссар дрожащим пальцем указывает на него.

– *Кто это?* – кричит он. – Кто это мыло?

Я пожимаю плечами. Откуда мне знать? Это же было массовое производство, мыло изготавливали огромными партиями и не писали на каждом куске «Яша Гезундхайт» или «Цаца Сардиненфиш». Там все перемешивалось. Времена были тяжелые. Германия испытывала недостаток в продуктах первой необходимости.

– Не хочу! – орет комиссар. – Мне отвратительно это ваше мыло! Оно подозрительно выглядит!

Вот те на! Уж если *это* мыло подозрительно выглядит, тогда я не знаю... Это мыло высшего сорта, экстра. Я сам слышал, как один ээсовец в Аушвице со смехом объявил: «Это мыло экстра, оно сварено из избранного народа». *Хохма* по-немецки будет witz. Что ж, я спрятал мыло в карман и исчез.

## 16. Пляска Чингиз-Хаима

– Какое мыло, комиссар Шатц? О чем вы говорите?

И тут комиссар спохватывается, что окружен шпионами. *Они* хотят, чтобы он выдал себя, признался. Они хотят покончить с ним. Ситуация безвыходная: с одной стороны, команды израильских убийц, с другой – Возрождение Германии. Если он выдаст себя, если признается, что оевреился, карьере его конец, немецкое чудо пройдет стороной, Возрождение ни за что не примет его. НПП беспощадна к закомплексованным немцам. Партии Возрождения не нужен в своих рядах этот тяжкий балласт.

Шатц вытаскивает из кармана платок, промокает лоб. Надо держаться. Прежде всего необходимо создать впечатление уверенности, несгибаемости. Остается еще партия христианских демократов, а они не антисемиты. Они не требуют расовой чистоты. Комиссар Шатц осознает, что у него есть еще шанс. И с облегчением вздыхает. Ну и пускай в нем сидит еврей, христианские демократы не оттолкнут его, совсем даже напротив. Они сострадательны и понимают его мучения. Шатцу сразу полегчало. Его подозрения нелепы. Все от нервов. А эти двое, что помогают ему вести расследование преступлений, совершенных в лесу Гайст, люди высокоуважаемые и известные; они играют слишком значительную роль в культурной и общественной жизни Германии, чтобы согласиться стать орудием гнусной провокации и недостойных махинаций его врагов. Шатц совершенно успокоился. Он им докажет, что полностью владеет ситуацией. Главное, хладнокровие. Непринужденность. Ясность мысли.

– Да все о том же. Вы, аристократы, никогда ни в чем не были запачканы. Вы благоразумно отсиживались, укрывшись в своих замках, ожидая, когда все это кончится. Как же, избранные. Вы ведь и пальчиком не шевельнули, не высказались ни за, ни против. Позволили этому свершиться. А вот я – человек из народа. И это нам вечно отводится самая грязная работа, и это нас она потом всегда начинает винить.

– Кто это она?

– Вы имеете в виду фрау Шатц?

– Вам нужно пройти курс лечения сном. . .

– Ни за что! Именно этого они и ждут. Чтобы я расслабился, отвел взгляд в сторону. А они будут сохранять раздел Германии на две части и обвинять нас в том, что мы прячем в чаще леса Гайст неудовлетворенную нимфоманку, которая уже погубила цвет нашей молодежи и только и мечтает, чтобы снова приняться за это.

– Повторяю еще раз, у вас нет никаких доказательств!

– Сорок один труп. . .

Зазвонил телефон. Комиссар выслушал сообщение и положил трубку:

– Сорок два. Капитан футбольной команды, наш лучший центральный нападающий. Пущечный Удар!

Я фыркнул, но засмеялся Шатц:

– *Хи-хи-хи!*

Барон просто взорвался от возмущения.

– Господин комиссар, я решительно и энергично протестую против ваших недостойных инсинуаций! – возопил он. – Вы говорите об этих ужасных убийствах, но я, я говорю о своем счастье! Да, можно убить кого-то, но при этом вовсе не изменять мужу! Вы не имеете права

думать о худшем. Можно иметь принципы, политические взгляды и оставаться порядочной женщиной!

– Какие еще политические взгляды?

– Как только начинаются массовые убийства без всякой видимой причины, это значит, что за ними кроется доктрина, идеология, возможно даже государственные интересы. Флориан несомненно стремится к тому, чтобы восторжествовали определенные принципы, он защищает некие идеи. Никто не совершает систематических убийств без определенной системы. Вполне возможно, он стоит во главе некой политической организации наподобие Священной Фемы, существовавшей после Первой мировой войны, организации, стремящейся к созданию сильной страны без внутренних врагов, страны, которая является хозяйкой собственной судьбы.

Граф вставил монокль:

– Лили, разумеется, совершила ошибку, доверясь ему.

– Разумеется, – вздыхает барон. – Но что вы хотите, она всегда мечтала о величии, о могуществе. . .

– *Хи-хи-хи!*

– Господин комиссар! – негодуяще вопит барон.

Шатц попытался удержать меня. Он стиснул зубы, сжал кулаки, он не станет больше мне подчиняться. Ему трудно не повторять слова, которые я ему нашептываю, не хихикать моим голосом, однако он понимает, что дело тут вовсе не в его одержимости еврейским бесом, а в старой дружбе, всего-навсего. Иногда ему приходится уступать, позволять мне являть себя: его врач сказал ему, что нет ничего опасней, чем стараться связать меня, загнать в самые глубины его немецкого подсознания. Ведь именно там особенно злокозненный *диббук* больше всего и может натворить бед. Нужно, напротив, помогать ему экстериоризироваться, выйти наружу. Это надежнейший способ избавиться от него. А загнанный в подсознание, он способен внезапно ударить вам в голову и свести с ума. Обращаться с ним нужно хитро, надо разрешать ему иногда исполнить свой старый номер из репертуара «*Шварце Шиксе*», после этого он крепче спит. Но на сей раз Шатц вынужден реагировать. Позорно и унижительно стоять перед двумя весьма уважаемыми господами и слышать, как ты смеешься, точно идиот, чужим голосом, или отпускать вопреки себе шуточки, типичные для похабного, выродившегося еврейского искусства. А это страшно агрессивное, напористое искусство, оно пытается вновь подорвать возрождающуюся нравственность немецкого народа. Шатц вдруг видит себя замкнутым в подлинном музее ужасов. Реальность искажена кошунственными лапами, словно ею завладел некий омерзительный Шагал. *Хасид* из Витебского гетто с физиономией Чингиз-Хаима, рассеянный на полицейских досье, наигрывает на скрипочке, а в это время корова самого гнусного вида летает над официальным портретом президента Любке. Мерзости Сутина корчатся на стенах, ню еврея Модильяни своим похабным видом оскорбляют взгляд наших девственниц с их невинными ляжками. Фрейд забирается в подполье и втаптывает в грязь наши художественные сокровища. А вслед за ним врываются гримасничающие негритянские маски вместе с солонкой и велосипедом и располагаются на дегенеративном кубистском полотне. *Они* возвращаются.

Шатц обнаруживает, что со всех сторон окружен этаким злобной мерзостью, и у него рождается совсем уж страшное подозрение: а не попал ли он, бывший эсэсовец Шатц, в подсознание еврейского автора и не обречен ли он вечно пребывать в этом страшном, зловещем месте? Не стал ли он, Шатц, отныне нацистским *диббуком*, навечно заточенным в еврейской душе, начиная с души этого безжалостного писаки. Да, безжалостного, потому что в голове у него, похоже, одна только идея: отравить своей проклятой литературой психику будущих поколений. Вот поистине преступление против человечества, духовное зверство, стократ более

преступное, чем все чисто физические жестокости Аушвица. Хаим всего лишь шестерка, мелкий подручный, подлинным преступником является этот автор, который как раз сейчас топчет в своем подсознании немецкого *диббука* Шатца. Но чего он добивается? То ли хочет избавиться от него этой неистовой *хорой*, то ли, напротив, пытается еще глубже загнать его внутрь себя, чтобы навсегда заточить в себе и тем самым принудить переходить через свои сочинения из души в душу, дабы Германия уже никогда не смогла освободиться из этого нового гетто – еврейского подсознания? Ведь именно с этой целью международное еврейство создало в Германии и финансирует НПП.

Я рассмеялся.

– Господин комиссар, над чем вы смеетесь?

– Это не я, – угрюмо отвечает Шатц. – Это. . .

Но он замолкает. Нет, они его не подловят. Не на такого напали. Тверже утеса.

Я делаю ему небольшую уступку: оставляю двадцать процентов контроля над мыслями и все сто процентов голоса. . . ну, почти сто: за собой я сохраняю всего двадцать пять процентов. Жить-то надо.

– Что вы сказали?

– Комиссар, вам что, слышатся голоса?

– *Голоса-шмолоса*, – презрительно бросает комиссар, и граф, потрясенный столь типично еврейским оборотом, вставляет в глаз монокль.

Барон ничегошеньки не замечает. Странное поведение комиссара прошло мимо его внимания. Он парит в горних высях, продолжает писать образцовый портрет Лили, достойный самых благородных наших гобеленов.

– Лили могла заблуждаться, но она всегда готова была все отдать за счастье народа. И когда видела, как на горизонте горделиво возносится новый завод, глаза ее блестели, она бледнела от волнения! Она так хотела видеть наш Рейх сильным, выстроенным на тысячу лет.

– И вы полагаете, что за тысячу лет ей удалось бы получить удовлетворение?

– *Хи-хи-хи!*

– Господин комиссар, – высокомерно объявляет граф, – этими вашими словами, этим смехом вы позорите себя. . .

Шатц ударяет кулаком по столу: бессилие любит проявляться в яростной жестикуляции.

– Да не я это, не я! – орет он.

– Как это не вы? Я отчетливо видел. . .

Ничего он не видел и видеть не мог. Шатц и рта не открыл. Как-никак дело свое я знаю. *Диббук* прежде всего мастер чревоушания. А барон по-прежнему полностью погружен в свои супружеские горести.

– Рур с его лесом горделиво вздымающихся и таких многообещающих труб приводил ее в сильнейшее возбуждение. Чтобы успокоить ее, мне приходилось целыми ночами играть ей Баха.

– Бедняжка баронесса, – пробормотал комиссар.

– Но почему? Я должен был доставить ей удовольствие. Как-никак я ее муж.

Я фыркаю.

– *Хи-хи-хи!* – смеется Шатц.

– Кисонька-лапонька! – воркует садовник Иоганн, воздев глаза к небу, к своему маленькому абсолюту.

– Здесь царит на редкость низменная и возмутительно циничная атмосфера, – объявляет граф.

– *Они* возвращаются, – бормочет Шатц. – Вместе со своим гнилым искусством. Да поглядите же вы, они уже заполняют наши музеи. . . Все осмеяно, принижено, окарикатурено. . . Вы считаете, что такая корова – это нормально? Да где вы видели летающих коров, парящих новобранных, еврейских скрипачей на крышах? Они пытаются сделать из нас сумасшедших.

Барон взглянул на графа, граф на барона.

– Вы говорите. . .

– Я говорю, – взорвался Шатц, – что вам следовало бы направить вашего садовника к психиатру! Вы что, совсем оглохли?

– Да, да, хорошо, – кивает барон. – Короче говоря, Лили мечтала о чудесном подъеме. . .

– *Хи-хи-хи!*

– Садовник!

– Этот негодяй Чингиз-Хаим, – уныло говорит Шатц, – выступал в литературном кабаре самого низкого пошиба, где всё – всё! – подвергалось осмеянию.

– Что за негодяй?

– Цыпочка, кисанька, приди же сюда! – нежно застонал садовник Иоганн, и, говорю вам, никто, кроме него, никогда еще не видел столь реального неба.

– Не обращайтесь на него внимания, – бросил Шатц. – *Они* его отравили. Продолжайте.

– Вполне, вполне возможно, что какая-то политическая организация вовлекла Лили в эту. . . карательную экспедицию, в процессе которой в результате столкновения было несколько жертв. Сорок убитых, это я вполне могу допустить, но чтобы она изменила мужу. . . нет, нет, это немыслимо!

– Короче, честь спасена\*, – буркнул Шатц.

– К тому же вполне вероятно, что ее принудили вопреки ее воле, воспользовались ее беспомощностью, запугали и заставили молчать. Кстати, возьмем Сталина. Разве русский народ кто-нибудь объявляет ответственным за его преступления – за Аушвиц, Трешлинку, Бухенвальд, Орадур? Лили похитили, заткнули рот, вынудили молча присутствовать при всех этих ужасах, о которых, кстати, она ничего и не знала. Ее следует рассматривать как первую жертву этого преступного элемента, силой заставившего ее следовать за ним.

Зазвонил телефон, но Шатц не решается снять трубку: а вдруг это я вздумал поговорить с ним? Но в конце концов берет:

– Алло! Алло!.. Да, комиссар Шатц у телефона. . . Вы уверены? Это действительно она? Не забывайте, она принадлежит к очень знатному роду. . . Да, да, старинное дворянство. . . Эразм, Шиллер. . . Ницше. . . Вагнер. . . Даже Альберт Швейцер ее родственник. . . Значит, ошибки быть не может?.. Отлично. Передайте ее фотографию в газеты. На этот раз необходимо предупредить население, чтобы не началось опять. . . Благодарю вас.

Шатц с торжественным видом опускает трубку на рычаг. Смотрит на супруга.

– Господа, только что я отдал приказ приступить к соответствующим мероприятиям. Обнаружены отпечатки пальцев вашей жены.

– Где? – проблеял барон. – На чем они обнаружены?

– Черт побери, а на чем, по-вашему, они могут быть? Да на трупах, на трупах. Теперь нет ни малейшего сомнения, она замешана в этом деле. Вот чем объясняется выражение счастья на лицах этих несчастных.

Честняга Иоганн возмущен:

---

\*Ироническая аллюзия на слова французского короля Франциска I после битвы при Павии (1525 г.), где французские войска были разгромлены, а сам он попал в плен к императору Карлу V: «Все потеряно, кроме чести».

– Несчастливых? Почему несчастных? Да это же самая прекрасная судьба, ей можно только позавидовать! Я... Я хочу ее отпечатков! Хочу по всему телу!

Писарь рушится со стула. Глаза у него остекленели. Он в страшном состоянии окончательной готовности. Я подошел к нему и погладил по голове. Славный парнишка. Жди, скоро у тебя будет фюрер.

Однако барон не сдается.

– Это ничего не доказывает, – почти шепчет он. – Она вполне могла оставить свои отпечатки, когда защищалась. Вероятно, эти скоты напали на нее. Завязалась борьба. Прибежал егерь и убил их. Он исполнил свой долг.

– Сорок два трупа? Не смешите меня.

– И потом, господин комиссар, эти люди могли быть убиты... до того как... Быть может, акт не был совершен. Нет никаких доказательств, что был нанесен урон моей чести.

– Они были убиты в тот момент, когда испытывали наивысшее блаженство. Так утверждает, причем категорически, судебно-медицинский эксперт.

– Кле-ве-та! Господин комиссар, от всего этого дела так и тянет ненавистью, злобой, заговором, ядом, преднамеренностью. Я не хочу обвинять... наших врагов, но после того, как их... как они покинули нас, они только и делают, что на нас клеветают. Они даже создали специально для этого государство.

На сей раз Шатц согласен.

– Вы правы. Они топчут нас, отплясывают на нашем имени варварский, мстительный, азиатский танец скальпа, а верховодит ими глава их гестапо Чингиз-Хаим.

И тут выскакиваю я. Хоп-ля-ля! Я выскакиваю и отплясываю перед комиссаром варварский, мстительный, азиатский танец скальпа. Я всегда хорошо танцевал, даже на сцене, но теперь, когда я утратил, так сказать, вес, я пляшу просто великолепно. Я верчусь, подпрыгиваю, притоптываю, бью каблуком о каблук и – раз-два три, хоп, раз-два-три! – выкидываю ноги вперед, иду впрыскаю, хлопаю ладонями по пяткам; это помесь русского *казачка*, которому мы научились от украинских казаков, когда они отплясывали его у нас в местечках после погромов, и нашей старой еврейской *хоры*. Как ни странно, но комиссар, похоже, единственный, кто видит меня. Он испуганно замирает, следит за мной взглядом, а я весь во власти вдохновения. И тут он указывает на меня пальцем. Однако я уже исчез и занял свое место внутри него.

– Вы его видели? Видели? Вот уже двадцать два года этот сукин сын терзает меня! Я все уже испробовал. Но мне так и не удалось избавиться от него.

– О ком это вы?

Комиссар мигом замолкает. Инстинкт самосохранения. Пока он еще способен обмануть окружающих, притвориться, будто меня вовсе нет. Шатц принимает сосредоточенный, серьезный вид, дескать, он весь погружен в дело, которое расследует... Но какое дело? Ах да, Джоконды. Джоконда взбесилась и пошла убивать направо и налево. И тут садовник Иоганн хлопает себя по голове: он только что вспомнил...

– Я ж совсем забыл... Там еще вокруг пруда... И на центральной аллее... Молодые люди, студенты, в кустах... Один так даже держит в руке велосипедный насос... А я здесь! Ну почему она пренебрегает мной? Почему она презирает именно меня?

– Ну все, парни, хватит, – бросает Шатц, как будто он обращается к простонародью. – Не позволим деморализовать себя.

– Ну почему велосипедный насос, а не я?

– *Хи-хи-хи!*

Опять я не смог сдержаться. Шатц угрожающе поднимает кулак:

– Прекратите, Хаим. Вы мертвы, так что соблюдайте хотя бы минуту молчания.

– Я протестую! – выкрикивает барон. – Позвольте вам напомнить, что вы говорите о существе, чью несравненную чистоту воспевали наши прославленные авторы начиная с Шиллера! У меня есть стихи, подтверждающие это.

– Приложите их к делу. Защита сумеет использовать их.

– Гуманисты всего мира падали к ее ногам!

– *Да, корчась в чудовищных муках.*

– Хаим!

Все, все. Вечно цензура. Я обижен. Надо сказать, оба аристократа по-настоящему возмущены. Чувствуется, их терпение на пределе; сейчас они возвратятся к себе и прочтут какой-нибудь красивенький стишок.

– Этот скандал чрезмерно затянулся, – объявляет граф. – Нам необходимо Моральное перевооружение, духовное оружие. . .

Шатц угрюмо уставился на них маленькими голубыми глазками.

– Садовник.

– Здесь, господин комиссар!

– Что, все без штанов?

– Все. А я в штанах. Отвергнут. Но почему? Что во мне такого противного? Разве можно так унижать сына народа? Я пойду отыщу ее и докажу, на что я способен.

Он уходит, и мне становится немножко грустно. Чистый, честный Иоганн. К тому же совершенно нетронутый. Попадет он, как муха в паутину. Потому что она ищет прежде всего чистоту, простоту, душевную нетронутость, веру. Именно тут она может принести настоящее несчастье.

– У него из-за нее комплекс появился, – замечает комиссар.

А я беру газету и устраиваюсь в уголке. Не желаю больше думать о ней. Я это прошел. Теперь черед других. И первое, что я вижу, огромными буквами: «**ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ ДОВЕРЕНА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТУ ХЭМФРИ. . .**», «**НАПРАВЛЕНЫ НОВЫЕ ПОДКРЕПЛЕНИЯ, СНАБЖЕННЫЕ НОВЕЙШИМ ОРУЖИЕМ. . .**», «**НАЖМЕТ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ ДЖОНСОН НА КРАСНУЮ КНОПКУ?**». Хи-хи-хи! И у американцев там тоже ничего не получится, это я вам говорю.

## 17. От нас скрывали

Они уже час как дискутируют. Вечная история: споры, уговоры, уговоры, споры. Избранные натуры с огромным трудом воспринимают очевидное. Известное дело, очевидности недостает изысканности. Барон даже нашел весьма убедительный аргумент:

– Позвольте, комиссар. Будем рассуждать логически. Если Лили... принимала у себя, в парке замка, зачем ей было, по-вашему, ни с того ни с сего устремляться за его пределы?

– Жажда завоеваний.

– У Лили? Да она мечтала только о мире.

– О, это самая кровожадная мечта, уж вы-то должны были бы знать. А теперь в свой черед попрошу вас ответить на мой вопрос. Как так произошло, что, окруженный со всех сторон трупами – они валяются по всему парку, если верить вашему садовнику, – вы ничего не замечали?

– Комиссар, так низко я не устремляю взоры. Мои глаза были обращены только на Лили. Ее красота затмевает все. Я видел только ее. Да, поверьте, ее красота ослепляет. Я любил ее, почитал. Не обращал внимания на мелочи. Я питал к ней бесконечное, безоговорочное доверие.

– Но в любом случае вы, должно быть, замечали, что что-то с ней не в порядке? Что есть в ней... какие-то темные закоулки?

– Я попросил бы вас!

– Темные и отвратительные закоулки, где происходят странные вещи?

– Господин комиссар, существуют закоулки, в которые джентльмен никогда не заглядывает.

– Итак, вы закрывали глаза.

– Я любил ее. И никогда не позволял себе смотреть на нее критическим, скептическим, циническим, подозрительным взглядом.

– Всюду трупы, а вы ничего не видели.

– От нас это скрывали. Нас держали в полнейшем неведении. Да, мы слышали, что имели место определенные нарушения, но подробностей мы не знали. И потом, я до сих пор еще не уверен. Во всем этом слишком много пропаганды.

– Но ведь все это у вас под носом, в вашем парке! И показания садовника Иоганна невозможно опровергнуть. Не могли же вы прогуливаться по лужайкам, предаваться при лунном свете мечтаниям и ни разу не споткнуться о труп!

– Мой друг вам уже сказал, – вступил в дискуссию граф, – что он никогда не занимался политикой. И если вы спотыкаетесь о труп, то прекрасно понимаете: тут происходит нечто такое, во что не следует вмешиваться.

– Я считал, что все эти слухи о трупах распространяются коммунистами, – пробормотал барон.

– Вы же ступали по ним!

– Никогда! Я слишком хорошо воспитан и был крайне внимателен.

– Значит, вы все-таки видели их.

– Ну как вы не понимаете? Меня гнусно обманули, загипнотизировали, злоупотребили моим доверием, моим патриотизмом, моей любовью!

Звонит телефон. Комиссар снимает трубку:

– Хорошо, записываю. Вид у него был радостный?.. А что я должен делать, по-вашему?.. Сообщите семье.

Бросив трубку, комиссар вновь берет ручку:

– С сегодняшнего дня это величайшее преступление против человечества!

Барон сражен. Его личико, старческое и одновременно кукольное, выражает безграничное смятение.

– Женщина чистая и прозрачная, как стекло! – стенает он.

– Да что вы можете знать, – бурчит Шатц.

– Как-никак я ее муж. . .

– Разумеется, оттого вы и смотрели на это только под одним углом.

– *Хи-хи-хи!*

– Какое хамство!

– Это не смех, – объясняет комиссар. – Я откашлялся.

Усы графа уныло повисли.

– Мой дорогой, мой несчастный друг, – промолвил он, – временами у меня ощущение, что так называемая современная мерзкая и тенденциозная литература завладела нами и старается все очернить, меж тем как существует столько прекрасных вещей, которые можно созерцать и описывать. . .

– Ах, куда ушел век Просвещения? Руссо! Вольтер! Дидро! Да, конечно, временами их перо бывало чересчур фривольным, но им хотя бы был присущ стиль! Они так восхитительно говорили об этом!

– *Разумеется, они же жили ее прелестями.*

– Хаим!

Барон извлекает платок и промокивает лоб:

– Дорогой граф, нас всех хотят утопить в неслыханной гнусности. Этого следовало ожидать. Для них все средства хороши, чтобы покрыть нас позором. Они не отступят ни перед какой непристойностью. Вы видели эти фотографии нагроможденных друг на друга обнаженных тел в Бухенвальде? Что за порнография! Бесстыдство. . . Да, да, бесстыдство! Они не имели права фотографировать подобные вещи, а уж тем паче публиковать. А ведь они, вы же знаете, показывали это даже в кино. И церковь не воспротивилась показу. Я сам видел в зале священников!

– Полностью согласен с вами, дорогой друг. Они не имели права демонстрировать эти обнаженные тела. *It was an invasion of privacy, my dear!*\* Вообразите себе, в этой куче были юные девушки лет четырнадцати с еще не вполне сформировавшимися маленькими грудями. . .

– *Прикройте грудь, чтоб мне ее не видеть!*\*\*

– Хаим!

– Знаете, что я вам скажу, барон? Эти непристойные фотографии, в конце концов, принесут больше зла, чем сам факт. . . Да, разумеется, казни были преступлением против евреев, но публикация таких фотографий – это же преступление против человечества! И исходя из высших интересов человеческого рода все это следовало бы как-то обойти молчанием. А тут сознательно подрезали крылья нашей давней гуманистической мечте. Притом существует и воспитательный аспект. Подобный вид наваленных кучей нагих тел может оказать прискорбное воздействие на нашу молодежь. Это ведь опаснейшее подстрекательство. Порнография, которая открыто выставляется, в конце концов, может навести на мысли. . .

\*Это вторжение в частную жизнь, дорогой мой! (англ.)

\*\*Обращение Тартюфа к служанке Дорине. Мольер, «Тартюф», III, 2.

Шатц рухнул на стол и захохотал как сумасшедший. На этот раз он меня по-настоящему порадовал. Ржал он как одержимый. Мы с ним так безумно веселились до этого всего лишь раз: в августе 1966 г. во время чрезвычайного заседания Всемирного еврейского конгресса в Брюсселе, на котором обсуждалась возможность диалога между евреями и немцами.

Итак, Шатцхен безудержно веселится. Обе избранные натуры взирают на него с огорчением и растерянностью, какую способны понять лишь те, кто с младых ногтей, с времен первой своей няньки, воспитывались в поклонении Джоконде. Сейчас они уже не сомневаются: Лили попала в лапы плебея, и весьма, весьма возможно, что полиция находится с ним в сговоре. Полиция ведь всегда набирается из нижних слоев общества. И речь идет о компрометации чрезвычайно знатной дамы. Эта вульгарная демократия жаждет вывалить в грязь ту, чей род многие столетия был окружен всеобщим почитанием и любовью. Все идет к тому, чтобы покончить с Духом.

Барон до такой степени возмущен, что даже обретает некоторое достоинство.

– Господин комиссар, ваше поведение безобразно. Я рассказываю вам о своей жене, которой грозит смертельная опасность, а вы начинаете хохотать. Предупреждаю вас, что я обращусь с жалобой к вашему начальству, но пока требую немедленной помощи.

Шатц приходит в себя. В чем, собственно, дело? Ах да, серия убийств в лесу Гайст. И он как раз вел допрос свидетелей. Где же они, эти свидетели? Ах, вот они. Все тут. Шиллер, Гейне, Спино... Нет, нет, не эти, другие. Эти скорее обвиняемые. Забавно, миллионы этих свидетелей присутствуют здесь только потому, что их тут больше нет. Чем дальше, тем непонятней. Комиссар Шатц в очередной раз осознал, что случаются временами такие провалы, когда он не вполне владеет собственными мыслями. Виной тому переутомление, а также эта проклятая... *оккупация*. Впрочем, на секунду я отстранился, он меня отстранил, *прошу прощения, позвольте, Хаим, это я здесь... да нет, Шатцхен, нет, говорю вам... Хаим, хозяин здесь я... ладно, ладно, Шатцхен... Чёрта вам... Он стучит, точно глухой, кулаком по столу, но стол – государственная собственность, так что, сами понимаете, мне на это с прибором... И вот мы оба молчим, в тесноте, да не в обиде, как говорят русские... Ну разумеется, я говорю по-русски, а как же иначе. Вы не читали Шолом-Алейхема, Исаака Бабеля? В них мои истоки. Теперь главное продолжить расследование и не дать сбить меня с толку. На карту поставлена моя карьера... Ладно, ладно. Я пожимаю плечами. На карту поставлена *его* карьера. Это серьезное дело, и если удастся довести его до успешного конца, то всем, кто шушукается за его спиной, что, мол, комиссар первого класса Шатц уже некоторое время ведет себя весьма странно, он докажет, что способен прекрасно контролировать некоторые психические нарушения, обостренные давней, подхваченной во время войны инфекцией, и его не собьешь.*

## 18. Требуется провиденциальная личность

Впрочем, у Шатца только что появилась идея. И как же это он раньше не додумался? Ну, поглядим, поглядим. Он расплывается в улыбке, а я страшно доволен, что он принял мою подсказку. Он не боится советоваться со мной, евреи – народ хитрый, опытный, и на этот раз я постараюсь следовать их советам. Вот только я не намерен влезать в это дело, я подсказал, а дальше пусть сами разбираются. Что меня больше всего бесит в Хаиме, так это то, как он ловко смывается и делает вид, будто он ни при чем, его нет, а это я, Шатц, сам до всего додумался, хотя я прекрасно знаю. . . Тут уже пошла такая свара, мне это все обрыдло, я решил отвалить, пройтись по лесу Гайст, чтобы набраться вдохновения, но в этот миг в кабинет врывается капрал Хенке, тот самый, что каждое утро в десять часов приносит нам чашку чая, и вид у него, прямо скажем, катастрофический.

– Господин комиссар. . .

– Что такое? Их арестовали?

– Сержант Клепке. . . вахмистр Бзик. . . Вы послали их патрулировать лес. . .

– Ну и что?

– Только что обнаружены их тела! Это ужасно. . . Вот такие вот улыбки. . .

Хенке изображает «вот такую вот улыбку». Весьма впечатляюще. Писарь, уже прочно сидевший на стуле, начинает подниматься, ну прямо тебе как тесто на дрожжах.

– К их рожам это очень идет, – бурчит Шатц.

Недовольства в нем не ощущается.

– Они решили, что справятся. Ничтожества. . . Тут требуется провиденциальная личность, человек, способный обуздать ее, завалить, взять дело в свои руки и сделать ее счастливой. Она ничего не имеет против грубости, ей нравится, когда мужчина – это мужчина. Ей уже осточертели сопляки, молокососы, недоделки. . . Она уже наелась этих слабаков-демократов, чей хребет при первом порыве ветра сгибается, как тростник. . .

Он встает. Я отхожу чуть подальше и не без интереса наблюдаю за ним со стороны. Он топает ногой, на лоб ему спадает прядь, точь-в-точь такая же, заметьте, я вовсе не желаю этого Германии, но все-таки очень бы хотелось, чтобы вы ответили мне на один вопрос: не испытываете ли вы, когда читаете в газетах, какой процент голосов был отдан на выборах за неонацистов, крохотного удовлетворения? Признайтесь, вам начинает надоедать, что у вас появляется привычка думать о Германии *иначе*. Что, не так? Ведь правда же, куда приятней иметь возможность поместить Германию в графу «неисправимая, неизменно остающаяся самой собой», куда вы ее определили раз и навсегда, точно так же, как вы предпочитаете, чтобы евреи соответствовали образу, какой вы им создали за несколько столетий, а Израиль или демократическая Германия, разрушая ваши сложившиеся привычки и взгляды, немножечко вас смущают?

Вот почему я ловлю себя на том, что вопреки своей воле нашептываю Шатцу советы быть осмотрительней. Теперь я его не подталкиваю, совсем наоборот, я его удерживаю. Пусть за ней гоняются другие. Германия уже сделала для нее все, что могла. Но она не утолилась, ей хочется больше, еще больше. И я шепчу ему, что немцами она уже сыта по горло, ничего это не дало, она оставалась холодна, как мрамор. Я удерживаю его, я против, я убеждаю, доказываю. Чего хотят немцы? Две тысячи лет ненависти и плевков в спину? Стать *новыми евреями*, занять наше место, да? Одним словом, я уговариваю Шатца не лезть в лес Гайст

и не ввязываться в это. И вовсе не из симпатии, как вы понимаете. Но если немцы опять попробуют удовлетворить ее, от Джоконды не останется ничего. Даже улыбки, плавающей в пустоте, как после Чеширского кота. Ничегошеньки. Ведь она же превратилась в чудовищно неудовлетворенную, чудовищно мечтательную и чудовищно требовательную принцессу. Чтобы воспарить от наслаждения, ей теперь потребуется не меньше пятисот мегатонн. На меньшее она не согласится: она начинает осознавать себя.

Он колеблется. Однако известно, что он немец, это видно невооруженным глазом, весь мир смотрит па него. И как поступить, когда взоры всего мира устремлены к твоей необузданной мужественности? Тут задумаешься. Я всю убеждаю его. Твержу ему, что она нимфоманка, что никому еще не удалось удовлетворить ее.

С этим своим внутренним спором мы совсем забыли про капрала Хенке. А он все еще тут. Вытянулся по стойке «смирно».

– Шеф. . .

– Ну что?

Руки по швам. Ест взглядом начальство.

– Прошу разрешения отправиться патрулировать лес Гайст. – И капрал скромно опускает глаза: – Не хочу хвастаться, шеф, но я уверен, у меня получится. У меня есть все, что нужно даже для очень знатной дамы. Если желаете, могу привести кое-какие цифры. У меня замечательный характер, я сеял несчастье всюду, где проходил.

– Пятнадцать суток ареста! – взвыл Шатц. – Кругом!

– Gott in Himmel! – скулит барон. – Невозможно гнусней оскорбить все, что в человеке есть благородного. . .

– Крепитесь, друг мой, – уговаривает его крайне шокированный граф.

В дверь заглядывает инспектор Гут. Он смеется.

– Чему вы так радуетесь?

– Господин комиссар, пришла делегация бойскаутов. Хотят помочь вам. Молодые люди страшно возбуждены. Готовы добровольно отправиться прочесывать лес.

– Гоните их домой. Пусть устраиваются собственными силами.

– *Хи-хи-хи!*

– А что делать с журналистами?

Шатц задумывается. Пожалуй, это будет наилучший выход: пусть увидят его на посту, убедятся, что он умело и хладнокровно ведет расследование. Это положит конец гнусным слухам, которые распространяют его враги.

– Впустите их.

Сколько их! Они примчались со всех концов света, и особенно возбуждены английские специальные корреспонденты: сами понимаете, в головах у них одни только немецкие зверства. Никак не могут простить нам бомбардировки Лондона. Спустя двадцать лет «Санди Тайме» хватило *хуцпе* выпустить специальное иллюстрированное приложение, посвященное «анти-семитизму в Германии». Какой антисемитизм? В Германии осталось всего-навсего каких-то тридцать тысяч евреев, и вы считаете, этого достаточно, чтобы воссоздать, возродить идеологию?

Засверкали вспышки, и Шатц на миг испугался, но тут же спохватился и успокоился: *этого сукина сына* не видно, здесь только он один.

А я обиделся. Мне бы очень хотелось, чтобы меня могли сфотографировать. Настоящей известности я так и не добился. Так, третьеразрядный шут. Надо было эмигрировать в Америку, в Голливуде я определенно стал бы новым Денни Кеем.

– Муж! Где муж? Мы хотим взять интервью у мужа!

– Ужасно! – простонал барон. – Мое имя войдет в историю рядом с именем Ландрю\*!

Граф пожимает ему руку:

– Мужайтесь, дорогой друг!

– Господа! Господа! Почему вы на меня так смотрите? Я ничего не делал!

– Ничего?

– Совершенно ничего!

– Бедная женщина!

– Не беспокойтесь, все объяснится.

– Дорогой друг, мой совет: не произносите ни слова, пока здесь не будет вашего адвоката.

Телефон надрывается. Шатц вылезает из кожи.

– Алло! Да?.. Цирк Бабара предлагает свои услуги? На кой черт?.. Что?.. Они предлагают разбросать всюду куски отравленного мяса? Вы что, смеетесь надо мной? Это не дикий зверь, это очень знатная дама!

– *Шиллер, Лессинг, Спино...*

– Прекратите, Хаим! Прекратите!

– *Монтень, Декарт, Паскаль, все без шта...*

Он лишил меня слова, мгновенно умолк, сжал зубы, стиснул челюсти, оттер меня. Что ж получается, теперь и пошутить нельзя? Журналисты окружили барона, но он твердо стоит на своем, еще держится, еще сопротивляется, все еще верит в нее: Лили интересовало только то, что связано с Духом, однако приговор единодушен, отовсюду раздается:

– Нимфоманка!

Барону вторит граф:

– Лили! Наша Лили, плакавшая над раздавленной гусеницей!

Графу вторит барон:

– Лили запрещала садовнику срезать цветы!

И вместе, дуэтом:

– Она была такая мягкая, такая добрая!

Барон:

– Ее отношения с мужчинами были отношениями Лауры и Петрарки!

Граф:

– Убивают Джоконду!

Я:

– *Мазлов!*

Шатц:

– *Арахмонес!*

Я, целуя его в лоб:

– *Ба мир бис ду шейн!\*\**

Шатц:

– *Гвалт! Гвалт!*

Де Голль:

– Мадонна с фресок... принцесса из легенды...

Фрейд:

– Нимфоманка!

Гёте:

\*Ландрю, Адольф – брачный аферист, серийный убийца, действовавший во Франции, казнен в 1922 г.

\*\*Для меня ты прекрасна (идиш). Еврейская песня, чрезвычайно популярная в 30-40-х гг.

– Mehr Licht!\*

Наполеон: *пшик!*

Гитлер: *пшик!*

Лорд Рассел: *пшик!*

Джонсон: *пшик!*

Иисус:

– Ну уж нет, – вопит Шатц, – мы, немцы, не позволим тронуть евреев!

У меня по спине поползли мурашки. Я вдруг почувствовал страшную опасность, нависшую над моим народом: *нацисты, которые не будут антисемитами*. Представьте на миг, какой чудовищной катастрофой стало бы для нас, если бы Гитлер, к примеру, был не против евреев, а, совсем наоборот, против негров? Немцы едва-едва нас не поймали. Счастье, что они оказались расистами.

И тут я, что называется, сдрейфил. Я стал совсем махонький-махонький. *Испугался, что меня заметят. Испугался, что сейчас ко мне ползут с предложениями, с дарами...* Таких даров я не пожелал бы своим лучшим друзьям. Причем, прошу заметить, было бы чем оправдаться... Вот в Соединенных Штатах негры уже устраивали погромы, громили еврейские магазины... Их экстремисты выступали с яростными антисемитскими призывами... Само собой, надо защищаться... Нет, не хочу даже слышать об этом. *ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ!* Сворачиваюсь, как еж, в клубок, заставляю себя успокоиться, черных я уважаю, они отличаются от нас, их нельзя не уважать. Можно же все-таки уважать кого-то и не будучи расистом. Шатц, которому несколько секунд слышались долетающие словно бы со всех сторон пронзительные, бестелесные, безликие голоса, наконец с облегчением вздыхает. Приступ кончился. Даже чертов этот скрипач исчез с крыши, и вместо раввина и семисвечника в руке Шагала он видит родную физиономию капрала Хенке, объявляющего:

– Архиепископ коадьютор!

– А этому-то что нужно? – бурчит Шатц. – Он уже в десятый раз появляется.

– Интересуется. Вполне нормально.

– Как это, нормально?

– Ну, это же непосредственно имеет касательство к нему.

– Непосредственно к нему?

– Он хочет что-то предложить... Какое-то решение. Все-таки церковь.

– Церковь... Ну да, конечно... Черт побери, ты можешь мне сказать, каким боком это касается церкви? Эту тварь грызет чудовищное желание, которое никто не способен удовлетворить, и это ее доводит до отчаяния, а ты мне подсовываешь архиепископа.

– Ну, все-таки за ними Бог.

– Ну да, конечно... Да при чем тут это, при чем тут это?

Капрал подмигивает Шатцу:

– Что это значит?

– Так ведь Он всемогущий...

– Ну и что?

– *Он все может. У Него получится.*

– У Него по... Вон отсюда, дубина! И передай своему архиепископу коадьютору, что в нем не нуждаются. Пусть он не думает ходить утешать ее. Обойдемся без Боженки. Не перевелись еще на земле мужчины, настоящие, решительные, у которых есть еще желание и которые сознают свои возможности и способны взять дело в свои руки!

\*Больше света! (нем.) Предсмертные слова Гёте.

Я фыркаю.

– Алло! Да... Лига прав человека? Они всюду суют свой нос! Обер-комиссар Шатц слушает. Лига прав человека возмущена? Ну так она только и делает, что возмущается. И потом, чего вы суетесь? Все жертвы пошли на это по собственному желанию... Послушайте, полиция вовсе не виновата, что у нее такие... непомерные требования. Все ей не так, ничего ей не подходит... Социализм? Уже пробовали... Полный *пшик*. Все уже испробовали... Что? У вас идея?.. Ну выкладывайте... Так... Так... Что?! Это омерзительно! Милейший, вы развратник, порочный до мозга костей!

Шатц швыряет трубку. Журналисты заинтересованы.

– Что он вам сказал?

– Он утверждает, что знает хитрый, но верный способ.

– Какой?

– Ну... .

– Господин комиссар, мировое общественное мнение имеет право знать... .

– Могу вам сказать одно: это такое беспредельное свинство... .

– А вдруг оно удастся?

– Никогда! – вопит барон. – Только не с Лили!

– Господин комиссар, именем права народов самим решать требуем сказать нам! Скажите, что это за способ? У вас нет прав душить идеи! А у нас есть право знать. Это же может все изменить.

– Да говорю же вам, это такая грязь!

– Но может, целительная!

Барон вскакивает. Он похож на побитого Пьеро. Сейчас он сделает заявление. Воцаряется почтительное молчание. Как-никак, человек он известный, один из творцов обновления, у него в кармане вся тяжелая промышленность.

– Господа, выслушайте меня. Вы заблуждаетесь относительно Лили! Я ведь все-таки ее муж и знаю, о чем говорю. Сейчас я вам все объясню. Мы имеем дело с холодной женщиной!

Какой-то журналист, явно француз, презрительно обрывает его:

– Месье, холодных женщин не бывает, бывают только мужчины-импотенты!

– Милостивый государь!

*У меня получится. У меня, обер-комиссара Шатца, получится. Мне не нужны никакая система, никакой марксизм, социализм, идея, метод. Я пойду туда один, вооружась лишь своей мужественностью, и сделаю ее счастливой. Стократ более великий, чем Александр Македонский, стократ более могучий, чем Сталин, стократ более решительный, чем Гитлер, я избавлю ее от этой свободы, от этой неприкаянности, которая тяготит ее... .*

– Алло! Алло!.. Да... . Кто?.. Фюрст? Президент Лиги защиты нравственности? Только его не хватало. Ладно, пусть войдет.

Пускай войдет. Президент Фюрст высокий, прямой, как восклицательный знак, в руках трость, но не для того, чтобы опираться на нее, а чтобы обороняться. Этот человек известен всему миру возвышенными устремлениями своей души, своими протестами против подрыва нравственных устоев, своими призывами к благопристойности, к моральной чистоте, к добродетели. Руки у него длинные: совсем недавно он установил сотрудничество с одним французским депутатом, ярым голлистом, поднявшим тревогу накануне представления в Париже

извращенной пьесы «Марат-Сад»\* и призвавшим к спасению нашего генетического фонда, которому угрожает коварная, гнилая литература, способная развратить грядущие поколения, в результате чего на руках у человечества окажутся шестнадцать миллионов детей-даунов и уродов.

– Господин комиссар, как защитник молодежи и семьи, двух столпов нравственности и религии, я протестую! Протестую решительно и категорически! Требую принять срочные меры! Мы обязаны окружить себя жесточайшей цензурой, установить комитеты общественной бдительности на всех подступах! Всю свою жизнь я отдал защите нравственного здоровья и скорей дам себя убить, чем отступлюсь от своих принципов! Я требую телохранителей. Требую, чтобы вокруг моей добродетели установили полицейские ограждения. Она ищет меня. Я уже чувствую, как в меня прокрадывается пятая колонна, как она пытается овладеть мной, обложить со всех сторон с помощью интеллектуалов, масонов и международного еврейства. Мне приходится в собственном доме еженощно устраивать ограждения, и с оружием в руках я жду, что придут лишить меня чести. . . Вчера мне пришлось стрелять, но я не попал. Господа, эта ненасытная нимфоманка рыщет вокруг меня. Я ощущаю на своем теле ее обжигающее, пахнущее спиртным дыхание, ее грубые руки ищут, проверяют, все ли у меня на месте, я слышу ее непристойный хриплый шепот, субсидируемый министерством культуры, ее безумные посулы, пальцы ее стараются разжать мои руки, вырвать из них оружие. Требую четырех телохранителей – двух спереди, двух сзади, – требую, чтобы в каждом книжном магазине неотступно находился полицейский, требую запрета женского, а равно и мужского полового органа, этого гнусного изобретения порочного и непристойного искусства! *Нет!* Нам нанесен непоправимый удар отвратительным уродством, омерзительной низменностью: вы позволяете изгаляться всяким Пикассо, и утром, проснувшись, обнаруживаете в паховой области мерзкий фаллический орган! Вы терпите Брехта, Жене, грязных художников, Вулза, Макса Эрнста, и тела наших юных девственниц однажды оказываются мечены отвратительной оволосенной щелью, а потом кто-то смеет еще винить Господа в том, что он сотворил столь непристойный мир! Я говорю: *нет!* И требую, чтобы у всех моих выходов постоянно стояли часовые! Уж лучше ядерный конфликт, чем порнография! Всеобщая полная цензура во имя всеобщей полной чистоты! Рабство или смерть!

С остекленевшими глазами он рухнул на стул.

– Не надо терять голову! Не надо терять голову! – орал Шатц. – Подотрите за ним! Сходите кто-нибудь за врачом.

Барон закрыл лицо руками:

– Женщина, которая плакала, читая «Вертера», и которая превыше всего на свете любила классическую красоту. . .

– Дорогой друг. . .

– Женщина, которая наизусть знала Спинозу, Паскаля, Монтеня, святого Фому, чьи знания вызывали восхищение всех специалистов. . .

Был там один журналист, который с издевательской ухмылочкой наблюдал за нами. Не знаю, откуда он приехал. В основном тут были представители западной прессы, но поди проверь их всех. Смотрел он недобро, с ненавистью, а одет был в полувоенный френч, так что я ничуть не удивился бы, если бы оказалось, что это китайский коммунист.

– Господа, – бросил он, – индивидуально мы никогда ничего не добьемся. Надо отправиться

---

\*Имеется в виду пьеса немецкого драматурга Петера Вайса (1916-1982) «Преследование и убийство Жака Поля Марата» (1964). Сюжет пьесы – представление в сумасшедшем доме истории об убийстве Марата, поставленное маркизом де Садом. Выход пьесы и ее постановки сопровождалась скандалами.

туда всем вместе, коллективно! Время индивидуализма кончилось. Вы все еще используете кустарные сексуальные методы. Тут требуется массовое участие. Надо пойти туда всем вместе, плечом к плечу!

– Плечом к плечу?

– А впереди оркестр!

– Впереди оркестр? – взвыл барон. – Бедная Лили!

– Не надо терять голову! Алло! Алло! Да... Комиссар Шатц слушает... Что? Миллион китайцев без штанов? И у всех счастливая улыбка?

Писарь наконец не выдержал. Это следовало предвидеть. Весь дрожа, он вскочил и, вытянув вперед руки, принялся отплясывать какую-то джигу, точь-в-точь как страждущий перед дверью сортира, надежно и надолго занятого идеологией.

– Приди! Возьми меня! Изнасилуй меня! Обладай мной! Я не буду сопротивляться... Я твой от макушки до пяток! Делай со мной что хочешь! Возьми меня до самого нутра, до самой печенки, ведь я человек из народа! Лобзай меня! Я твой! Хочу, чтоб ты меня растоптала, распылила, разнесла в клочки, в пыль, хочу изведать неслыханное наслаждение! Я такое сделаю, такое, чтобы ты была счастлива! Все сделаю! Буду такой свиньей! Так жажну тебя! Сделаю тебе Орадур! Сделаю Аушвиц! Хиросиму сделаю! Все! Всюду! И ты станешь еще прекрасней! Я готов на все! На все! Я... Я... Heil Hitler! Sieg Heil!

– Господи, начинается!

– Не теряйте голову... Спокойствие! Спокойствие! Таблеток! Транквилизаторов! Вызовите кто-нибудь врача!

– В-в-возьми меня!

– Мечтательное человечество!

– Sieg Heil! Sieg Heil!

Комиссар Шатц слышит чудовищный взрыв, мир содрогается, взлетает, возносится ввысь волнами ненависти, которые устремляются на штурм Красоты, превращая Джоконду в «Шварце Шиксе», и на это взирают каждая своим единственным круглым глазом задницы Иеронимуса Босха, а веселые маски и призраки Джеймса Энсора\* теснятся перед входом в отвратительный Абсолют, вместивший шесть миллионов без учета мыла, только фон Кара-ян, совершенно нагой в своей арийской чистоте, без всяких следов свастики, еще отважно сражается, воздвигнув перед разнуздавшимися канализационными колодцами Варшавского гетто победоносную плотину из Бетховена и Орфа, которого с наслаждением слушают порочные нью-йоркские евреи; пятьдесят тысяч ослабленных, но уже исполненных грез членов НПП устремляются, воздев руку, к возрождению мужественности и твердости, подбадривая себя непристойными фотографиями из Аушвица и Белзена, сорок расстрелянных Харпо Марксов снимают штаны перед экзекуционным взводом и метят в самую честь Германии, Шатц горланит «Deutschland erwache»\*\*, надо возродить «Nach Frankreich zogen zwei Grenadiere»\*\*\*, ей нужен провиденциальный мужчина, настоящий крепкий мужик, от которого она раскочегарится, надо будет самому построить на тысячу лет, возратить Одер-Нейсе, сделать ее счастливой, удовлетворить ее, и он, Шатц, бывший, своими собственными руками, он ее удовлетворит, такой заделает взрыв, он выпрямляется, подпрыгивает на стуле, притопывает ногой, приплясывает, поет во всю глотку бум-тра-ля-ля, а она раскочегаривается, тает, она уже млеет, она уже вот-вот бум-тра-ля-ля, еще пятьсот мегатонн туда, где самая сладость, и еще бум-тра-ля-ля, чтоб

\*Энсор, Джеймс (1860-1949) – бельгийский художник, символист, автор серии картин, изображающих маски.

\*\*«Германия, пробудись» (нем.). Лозунг нацистов в период их прихода к власти.

\*\*\*«Во Францию два гренадера из русского плена брели» (нем.) – строка из стихотворения Г. Гейне «Гренадеры», перевод М. Михайлова.

до печенок дошло, они нажали на красную кнопку, в этот раз она извела *бум-тра-ля-ля*, и она уже парит в воздухе, она взорвалась, какой огонь, какое пламя. . .

- Нимфоманка!
- Что это за взрыв!
- Это она! Это Лили!
- Они идут со своим абсолютным оружием!
- Сто мегатонн!
- Наконец она получила, что хотела!
- *Мазлов!*
- Но я же вам говорю, это холодная женщина!

часть вторая  
В ЛЕСУ ГАЙСТ

## 19. Друг в друге

Они его увезли. Инспектор Гут вызвал «скорую помощь», нам сделали укол и унесли на носилках. «Энноктал», новое химическое вещество. Его вам впрыскивают в вену, и в тот же миг вами овладевает приятное веселое настроение, вы смеетесь, вы счастливы. Психиатрия сделала такие успехи, что неонацисты из Национальной партии Германии, вполне возможно, столкнутся с изрядными трудностями.

Как чудесно наконец оказаться в самом себе. Оккупация кончилась. Я больше не чувствую у себя на горбу бремени эсэсовца Шатца, не вижу больше эту потерянную харю, этот негодующий, злобный взгляд, не прощающий мне всех тех неприятностей, что я ему причинил. Но если вы думаете, что быть обреченным терзать психику бывшего эсэсовца, оказаться заключенным в его подсознании, когда тебя постоянно подавляют, и все время сражаться, чтобы не дать себя, придушить, – это жизнь, то вы здорово ошибаетесь. . . . Такого существования я не пожелал бы своим лучшим друзьям.

Тем более что это не подсознание, а какая-то берлога. Света нет, воздуха нет, низкий потолок давит, со всех сторон теснят стены, на которых еще можно различить старые лозунги, свастики и антисемитские надписи. Тошнотворно, грязно, во всех углах нагажено. И вы называете это гостеприимством? Спрятать еврея – это еще не все, надо еще подумать, где вы его спрячете. Гигиенические условия совершенно омерзительные, иначе не скажешь. Все прогнило. Никто не придет подмести, наоборот, только добавляют: каждый день кто-нибудь появляется и вываливает новые отбросы. Если это не неонацисты с их прессой, то какой-нибудь исторический мусор, отжившее вонючее старье с отвратительными пятнами крови и Бог знает чего еще, но оно шевелится и жаждет еще послужить, какие-то совершенно отталкивающие идеологические хреновины, чудовищные протезы, пытающиеся создавать видимость, а сейчас на меня свалились солонка, лейка, сорок два бесштанного трупа, шесть пар мужских полуботинок и Большой Ларусс; не одно, так другое. Настоящая помойка, можете мне поверить. По сравнению с подсознанием Шатца канализационные туннели в Варшавском гетто – это просто дворец принцессы из легенды. Даже не знаю, удастся ли когда-нибудь все это вычистить.

Наконец-то я стал самим собой. Давно пора. Да что говорить, порой я даже не понимал, кто я, где я. Представьте себе, бывали моменты, когда, вынужденный жить в такой внутренней близости с ним, я, Шатц, вдруг начинал сомневаться, а не есть ли я нацистский *диббук*, обреченный на вечное пребывание в психике еврея. *ТЬфу, тьфу, тьфу.*

Я уж даже перестал верить, что нам когда-нибудь удастся разделиться.

Так что можете себе представить, какую я испытал радость, когда ему в вену всадили иголку. Сначала он вроде удивился, а потом стал смеяться. Через секунду он уже хохотал захлеб, и я тоже заржал, да еще как. Просто не смог удержаться при мысли, что Хаиму, как в добрые старые времена, сделали укол, чтобы избавиться от него, и что этот хитрый, страшно подозрительный еврейчик ничего не заподозрил и, наверно, решил, что это вновь сказывается его прошлое призвание, комический атавизм. Он – хи-хи-хи!, я – ха-ха-ха!, уморительность ситуации усиливалась веселящим действием «энноктала», все это разрасталось, как снежный ком, и я уже не мог остановиться. Это курвино отродье реготало до потери сознания, что с ним в конце концов и произошло бы. Да, все кончилось бы прекрасно, не сделай

врач одной оплошности: видя, как я изнемогаю от хохота, он с оттенком профессионального удовлетворения в голосе сказал санитару:

– Действительно, очень эффективное средство в шоковом состоянии. Действует куда сильнее и гораздо продолжительней, чем веселящий газ. . .

Это и спасло мне жизнь. Существуют слова, которые не нужно дважды повторять еврею, и слово «газ» как раз к ним и относится. Я уже жутко ослаб от действия укола, пусть и не осознавал этого, смеялся, не мог остановиться, хотя смутно чувствовал, что потихоньку стираюсь, исчезаю, но в том состоянии эйфории, в каком я пребывал, дико радовался при мысли, что наконец-то избавлюсь от Шатца, освобожусь из немецкой психики со всеми ее завалами исторического дерьма, в которых я увяз по шею. Я начисто забыл, что без него я исчезну, перестану быть индивидуально воспринимаемым в анонимной массе статистических жертв, – действительно, что изменится, если в общей цифре шесть миллионов станет одним Хаимом больше или меньше? Я уже был на пути к превращению в абстракцию. Однако при слове «газ» немедленно сработал мой инстинкт самосохранения. Продолжая ржать – остановиться я не мог, действовала химия, – я собрал последние остатки сил, напрягся, стал брыкаться, да так сильно, что Шатц приподнялся на носилках, – нас уже вынесли на улицу и собирались погрузить в карету «скорой помощи», – уставился на врача и завопил:

– Нет! Вы должны ликвидировать его! Я не хочу больше иметь с ним ничего общего! Хватит с меня, он так долго измывался надо мной, изводил этими историями о наших жестокостях, я больше не согласен. . .

Я зашевелился еще энергичней, дернулся, рванулся сильнее, вскарабкался повыше, немножко пришел в себя и, чтобы преодолеть воздействие «энноктала», чтобы не уснуть, начал, как бешеный, отплясывать в немецком сознании, куда я провалился, *хору* памяти, нашу старую *хору*.

Не пожелал бы я таких танцев своим лучшим друзьям.

Это меня и спасло. На глазах ошеломленного врача и санитаров Шатц прыгнул, как заяц, с носилок и понесся по улице. Я ринулся вслед за ним, но можете мне поверить, чувствовал я себя в тот момент слабым, как вегетарианская кошка, и мне с трудом удавалось не отстать от него. Вообще удивительно, что у него хватало сил так чесать по улице после той дозы «энноктала», которую нам вкатили. Впрочем, что тут такого, у этой скотины Шатца, скажу вам без хвастовства, большие внутренние ресурсы на любой случай, а я, уж поверьте мне, постарался, такой гвалт поднял внутри, что он был охвачен таким страхом, таким гадостным ужасом и несся во все лопатки, как будто за ним гнались все расстрелянные мужчины, женщины и дети. Сами понимаете, я не мог позволить дать себя в обиду, нас и без того все время упрекают, что, мол, мы позволяли убивать себя, даже не пытаюсь сопротивляться. Но мне понадобился для этого весь мой инстинкт самосохранения, а кроме того, мы оба, несмотря на обуявший нас страх, по-прежнему ржали как сумасшедшие из-за веселящего действия укола, и это вообще было что-то чудовищное. Короче, они и впрямь чуть было не покончили со мной. Да, при тех успехах, каких они добились в биохимии, можно быть уверенным, что вскоре они полностью решат проблему души и нравственного сознания, и это станет концом наших психопаразитов. Еврейское подсознание освободится от немецкого *диббука*, а немецкое наконец очистится от еврейского влияния. Я не хочу сказать, что на этом все кончится, но во всяком случае никто не будет испытывать таких страданий.

Вероятно, я зря потерял голову, и вполне возможно, что, когда действие укола закончилось бы, мой еврей снова вернулся бы в меня, живехонек, как прежде. Я просто не хотел рисковать; врач выглядел вполне порядочным человеком, но представьте себе, а вдруг его подослали

израильтяне и это их чудовищная провокация, чтобы вынудить меня еще раз ликвидировать Хаима, а потом обвинить обновленную Германию и меня, обер-комиссара Шатца, в геноциде евреев? Ха-ха-ха! Вот им! Я тут же смекнул, чем это пахнет, соскочил с носилок и кинулся бежать сперва по улице, а потом через поля к лесу Гайст. Добежал я туда совершенно обессиленный, забился в чашу и только там, как следует ото всех укрытый, позволил себе потерять сознание. Одним словом, я его спас. Если израильские секретные службы все-таки схватят меня и будут судить, я привлеку в свидетели врача с санитарями, и им придется меня оправдать.

Уфф! Немножко полегчало. Сейчас он, совершенно обессиленный, спит в чаше. Как это я здорово догадался в последний момент подкинуть ему идейку насчет израильской ловушки. Он жутко перепугался, и это меня спасло. Теперь я могу вздохнуть. Я избавился от Шатца. Я денацифицирован.

## 20. Еврейские ямы

Мы находимся в печально знаменитом, как вы, наверно, помните, лесу Гайст. Вот уже двое суток как вход в лес запрещен, и на всех подходах к нему выставлены полицейские посты. Хотя уверен, что любопытным, романтическим натурам и мечтателям удастся обмануть их бдительность и проникнуть в лес.

Лес Гайст я знаю прекрасно. По этой дороге среди дубов, которая когда-то вела к руинам – теперь тут роскошный дом и детский сад, – я постоянно бродил, можно сказать, вопреки своей воле, словно надеялся еще отыскать на ней следы своих соплеменников. Они все ушли на небо дымом, но тут еще можно увидеть могилы, которые эсэсовцы заставляли нас рыть, прежде чем расстрелять. Моя тоже здесь, вот под этой елью, прошу любить и жаловать. В путеводителях о них не упоминается, но любой мальчишка из Лихта с готовностью покажет вам то, что здесь носит название «еврейские ямы».

Так что лес Гайст одно из любимейших моих мест прогулок, и я частенько таскаю сюда Шатца. Мы долго вдвоем с ним стоим и слушаем, как, по словам одного еврейского поэта, «осень навзрыд сердце щемит песней скрипичной»\* – осень 1943 г., если уж быть точным, – песней, что поднимается над немецкой землей и которую могут слышать те немногие, у кого хороший слух. Я наблюдал за своим другом, как он часами ходит вокруг ямы, которую приказал мне вырыть, и заглядывает вниз, на дно, где самая густая трава. И однажды произошло нечто невообразимое. Мы предавались медитации; вдруг он спрыгнул вниз и... Угадайте, что он сделал? *Улегся на дне в траве\*\**. Любопытно, не правда ли? Я тогда не очень понял этот его поступок, да и сейчас не вполне понимаю. Он лег на спину, закрыл глаза. Что он там хотел постичь? Подозреваю, в этом человеке живет гигантское желание побрататься. Но чего он все-таки ждал, улегшись на моем месте на дне ямы? Не надо, как говорится, путать половые тряпки и салфетки. Хотя почему не надо? Из всех этих тряпок и салфеток в конце концов получится красивое белье и даже нарядное платье для принцессы из легенды.

Рабби Цур из Бялостока как-то мне объяснил, что для французов человечество – женщина: и в этом слове, и в самом понятии, по их мнению, заключено все самое женственное, что только может существовать. Вообще похоже, что по этой части они большие любители. Выкладываются вовсю, хотя никогда ничего достичь не смогли.

Шатц недвижно лежал на дне ямы, сжимая руками пучки еврейской травы. Я был чудовищно смущен этой искупительной жертвой, этой внезапной сменой ролей. Сделать для него я ничего не мог: во-первых, мне некому было скомандовать «Feuer!», а во-вторых, у меня не было автомата. Да я ни за что и не выстрелил бы в него. Порой я задаю себе вопрос, не чересчур ли я зол.

К тому же я прекрасно знаю, почему он таскал меня в лес Гайст. Вне всяких сомнений, его тянет из-за Лили. Он очень любил жену, которую тоже звали Лили, – могу вас заверить, она была очень недурна собой, – но после трех лет супружества она от него ушла под предлогом, что не выносит жизни втроем. Она стала немножко нервной. Всем рассказывала, что ее муж повсюду таскает с собой еврея и что с нее хватит. Она ничего не имеет против евреев, но есть все-таки места, куда они не должны соваться, и что это отвратительно. В ту пору все сочли ее немножко неуравновешенной, и дело кончилось разводом. Помню, перед бракоразводным

\*Начало стихотворения П. Вердена «Осенняя песнь», перевод С. Петрова.

\*\*Аллюзия на стихотворение А. Рембо «Спящий в ложбине».

процессом я привел своего друга Шатцхена в состояние глухой ярости, выразив надежду, что суд назначит охрану еврею ему, а не его жене. Уж и пошутить нельзя. Он все воспринимает слишком трагически.

## 21. Принцесса из легенды

По лесу я бродил немножко наобум. Я знаю, что Флориан давно уже все время проводит в лесу Гайст: это его любимое место прогулок. Он приходит сюда помечтать, поразмышлять, ну и взять что ему положено тоже. Он чрезвычайно склонен к размышлениям: люди столько о нем размышляли, что, вполне естественно, он отвечает им взаимной вежливостью. Они столько думали друг о друге, отчего взаимоотношения их, посмею сказать, стали немножечко нездоровыми.

Тут имеются прелестные ручейки, которые журчат, струясь, как и положено, по камешкам. Растет папоротник. Птички. Всякие чики-чики и чик-чирики доносятся с каждой ветки. Всюду порхают недолговечные, эфемерные бабочки и мотыльки. Орлы здесь не водятся: места слишком низкие. Не водятся также волки, красные шапочки и бабушки. Лес поражен неким реализмом, он утратил аромат младенчества и невинности. Потерял девственность. По воскресеньям сюда во множестве приходят парочки – по причине ям. Они прямо как нарочно приспособлены для любовных утех.

Я вышел на опушку. На ней старые развалины, ничего интересного, камни, почерневшие от давнего пожара, ничего поэтического, ничего особо вдохновляющего, достаточно банально. Также несколько скал. А в глубине прекрасный вид на замок. Смотри-ка, на скале лежат несколько книжек. Не могу удержаться от улыбки. После Лили и Флориана на их пути вечно остается много произведений литературы.

Я не ошибся. Только я заметил книжки, как тут же появился Флориан. В руках у него нож, и он аккуратно вытирает его. При этом насвистывает мотивчик, от которого, если у вас есть спина, по ней побежали бы мурашки.

Я тотчас отметил небольшой физический изъянец, которым он страдает: красивые желтые бабочки, так грациозно порхающие в воздухе, при его приближении падают мертвыми. Но это вполне естественный феномен, и тут уж ничего не поделаешь. Не могу сказать, замечает ли его сам Флориан. Он садится на камень, достает из кармана колбасу и принимается нарезать ее очень тонкими, очень ровными ломтиками. Ест. Не знаю почему, но мне вдруг вспомнился Мекки Нож из «Оперы нищих»\*. Он именно так одевался. . . Ну точно! Безобразно кричащий клетчатый костюм, черная рубашка, белый галстук. В галстук он носит чрезвычайно примечательную, если брать во внимание его костюм, булавку: золотой крестик с прибитым на нем Христом. В некотором смысле трофей. Это была его первая награда, сразу же ставшая самой любимой. Все мы храним сентиментальную нежность к первым поощрениям, полученным в начале нашего школьного пути.

У Флориана очень необычное лицо. Костистое, плоское, и кожей оно обтянуто словно бы только для порядка. Глаза тусклые, веки без ресниц. Лицо немножко смахивает на морду черепахи, знаете, такой древней, доисторической рептилии. Тем не менее про это лицо нельзя сказать, что оно неприятное. Отсутствие выражения или, скорей, застывшее тусклое выражение. И на мысль приходит, что жизнь, наверно, исполнила все его желания, дала все, что она способна предложить.

Я вдруг почувствовал, что сердце у меня забилось сильней. Ничего не поделаешь, я всегда был страшно сентиментален. И вот еще что. Положение мое настолько деликатное, и при этом настолько неопределенное, что, когда я произношу «я», у меня нет никакой возможности

---

\* Джазовая опера Курта Вайля на либретто Бертольда Брехта, впервые поставленная в 1928 г.

убедить вас, что произношу это именно я. Тут подмешиваются еще всякие неприятности с нравственным чувством, подсознанием и небезызвестными и весьма небезынтересными историческими ситуациями. Это могу быть я, а может быть Шатцхен и даже вы, и через вас, ваше светлейшее преосвященство Просвещенного Запада, я слышу, пожалуй, наиболее любопытную характеристику *диббука*, этого истинного миазма канализационных колодцев, имея в виду, что существует почти хроническая тенденция проникновения его в наши самые высшие сферы. Ваше преосвященство извинит меня, это моя имманентная, нематериальная и вездесущая натура беспрестанно толкает меня выискивать на вашем преосвященстве мои собственные отметинки, любые крохотные грязинки, точки, оставленные мухами, так что поговорим о Юнге и коллективном бессознательном, а об этом не будем. Сердце мое заколотилось еще лихорадочней, а лицо расплылось в восхищенной улыбке: среди развалин появилась Лили. И тут же к ногам ее бросается водопад, на ветвях деревьев высаживаются павлины, создавая впечатление персидской миниатюры, вокруг начинают порхать херувимчики Рафаэля, скачут и резвятся единороги, Дюрер, сорвав с головы шляпу, устремляется к ней, падает на колени и ждет заказа, неистовствует Доницетти, Ватто весь в заботах об очаровательности, Ганс Гольбейн-младший укладывает у ее ног своего мертвого Христа, дабы придать ей сходство с Мадонной, и тотчас же сотни Христов располагаются с обостренным чувством композиции тут и там для услаждения взгляда. Я узнал Христа Йорга Ратгеба на фоне желто-синей вселенной вокруг его головы, и еще одного – написанного Грюневальдом – с большим терновым венцом, который к тому же слева еще и подвергался бичеванию, но едва я улыбнулся от расправившего меня эстетического наслаждения – меня безумно восхитило «Усекновение головы Иоанна Крестителя» Пиколауса Мануэля Дойча, – как в один миг все изменилось, исчезло, и начался период итальянского искусства, создавшего вокруг нашей Дульсины обрамление стократ ослепительней. Короче, искусство всех столетий очертя голову прыгало на чашу весов и добилось бюджетного равновесия, несмотря на сотни миллионов трупов; не было больше дебета, не было дефицита, творческое богатство вокруг нашей принцессы из легенды было таково, что ее слуги мигом прикрывали кровь и нечистоты, она обретала девственность, самые чудовищные преступления становились копиями драгоценных камней, сюжетов, источником, откуда фонтанировал Дух, гальванизацией гения. И все это продолжалось без конца и без передышки. Тьеполо быстренько сварганил ей в своей манере легкое небо, в овечках, пастухах и руинах чувствовалась блистательная рука Юбера Робера, рядом с ней оказалась лютня, Фрагонар старался над цветом ее лица, Ренуар работал над ушком, Боннар – над ножкой, Веласкес позаботился о царственной осанке, ее повсюду сопровождают гримировальщики и весь ее исторический гобелен.

Я понял, что совершаю ошибку, от которой меня неоднократно предостерегал мой любимый наставник рабби Цур из Бялостока: *я смотрю ей прямо в лицо*. Мне было всего двенадцать лет, как раз накануне *бармицвы*, когда рабби Цур, который хотел сделать из меня достойного и уверенного в своих достоинствах человека, поведал мне одно правило жизни и сказал, что это правило я никогда не должен нарушать. Ни под каким предлогом и ни в каких обстоятельствах я не должен рассматривать человечество слишком близко и слишком пристально. Я захотел узнать почему. Святой этот человек, похоже, впал в некоторое замешательство. Потому, наконец объяснил он мне, что оно ослепляет. Видишь ли, Мойшеле, человечество до того прекрасно, что вполне достаточно его любить, ему служить, но никогда не надо слишком внимательно в него вглядываться. Иначе рискуешь утратить зрение, а то и рассудок. Именно благодаря неукоснительному следованию этому правилу евреи, несмотря ни на что, выжили и не сошли с ума. Всякий раз, когда человечество слишком ярко проявляло себя, они отводили глаза. Вовсе не из трусости, а всего лишь из некоей деликатности и благоразумия.

Рабби Цур из Бялостока доверил мне куда более важную тайну.

В устной традиции существует предание, что Иисус перед казнью якобы исполнил это еврейское правило. *Он попросил, чтобы ему завязали глаза.* Невозможно дать человечеству, ради которого он умирал, более убедительного свидетельства жалости и любви. То было высочайшее проявление стыдливости за всю человеческую историю.

Рабби Цур много размышлял на эту тему и пришел к такому выводу: когда придет Мессия, он будет слеп.

Должен признать, что после своего приключения я стал достаточно неосторожным и даже дерзким в этом смысле. И мне казалось, что узнать о Лили мне осталось не так уж много.

Я во все глаза смотрел на нее. Чистые, нежные черты. . . Восхитительный носик. Трогательный нежный рот, остававшийся чистым и непорочным после всех ее встреч. А какая потрясающая невинность, целомудренный, незапятнанный облик. Ведь подумать только, совсем недавно, при последней попытке, она потерпела катастрофу, и как тут не снять почтительно шляпу перед ее верными слугами, успевшими восстановить красоту. Мне даже показалось, что я заметил в кустах Тициана и всю команду *Кватроченто* с гримировальными кисточками, но у меня, наверно, это было чисто нервное.

Она уселась рядом с Флорианом, который продолжал закусывать колбасой. Забавное ощущение, когда смотришь, как он ест. Я-то думал, он давно насытился. В его внешности было что-то иллюзорное, и сама его реальность придавала ему какой-то фантастический характер. Быть может, моя еврейская злопамятность сообщает тому, что напыщенно именуется «трагическим величием Смерти», этакий вот эйхмановский оттенок обыденной банальности. Хотя нет. Взять эту колбасу, жирную бумагу и нож. . . Ничего этого ему не нужно. С его стороны, вне всяких сомнений, колбаса – простое кокетство. Так ведет себя народ. Флориан не любит обращать на себя внимание, не любит выделяться. Он знает, что, если смерть можно повстречать вот так зримо, люди повалят толпами просить милостей – их страшно притягивает подлинная сила. Флориану надоели повинности, неизбежно связанные с известностью. Он предпочитает анонимность и превосходно умеет оставаться незаметным: он научился укрывать свою реальность за статистическими данными.

Флориан вытер нож, сунул за пояс, выбросил замасленную бумагу за скалу, – ну прямо тебе обычный горожанин после пикника. Потом извлек из кармана губную помаду и пудреницу и протянул Лили. Она принялась подкрашиваться. И у меня вдруг появилось ощущение, что я оказался свидетелем величайшего художественного действия в мире. Музеи переполнены сокровищами, устроена ретроспективная выставка восьмисот картин Пикассо, выставка Вермеера, Лувр открыт даже ночью, немецкие города платят любую цену за шедевры, чтобы восстановить былой авторитет, город Дюссельдорф даже приобрел портрет убитого нацистами поэта Макса Жакоба и выставил в своем музее: Германия искупает свою вину.

– Флориан, а кто был этот человек?

Какой голос! Нет, не говорите мне, это не голос, это чистый Моцарт.

Что-то наподобие улыбки появилось и пропало на лице, перед которым все преходит.

– Халтурщик.

У Флориана тоже красивый голос, глубокий, чуточку замогильный, но впечатляющий, впечатляющий, тут ничего не скажешь.

– Еще один халтурщик, дорогая. Не стоит огорчаться из-за него.

Со мной происходит что-то странное. Не знаю, то ли это ее голос так действует, то ли волнующая чувственность, исходящая от нее, но я вдруг ощутил, что начинаю выходить из абстракции. Бесполезно рассказывать вам, что в Лили нет ничего аллегорического, это обычное существо из плоти и крови. Есть в ней даже что-то от сучки, как говорят на идише.

А эффект, как всегда, потрясающий. Вы начинаете расти в своих глазах, на самые горделивые дубы смотрите чуть ли не свысока. Это один из тех моментов абсолютной уверенности, когда мужчина поистине осознает свою меру и перестает сомневаться в своем величии. На этот раз вы сделаете ее счастливой, вы уверены в своем таланте, в своем методе, это уже не вилами по воде писано, сейчас у вас есть кое-что вполне основательное. Вы поднимаетесь во весь рост, занимаете позицию, разворачиваете свое идеологическое знамя и приступаете к строительству социализма. Но Лили мечтает о совершенстве, достичь которого не в силах ни вы, ни она. И она по-прежнему досадует. Пока еще она продолжает гладить вас по голове, но ее тоскующий взгляд высматривает уже другую систему. У вас уже глаза лезут из орбит, язык на сторону, вы исходите потом и кровью, чувствуете, что еще минута, и вы сдохнете, держитесь только потому, что у вас еще чудом стоит, вы призываете на помощь все свои идеологические ресурсы, пытаетесь войти в Историю, используете уж такие невероятные ухищрения и, наконец, суете в такие места, о существовании которых даже не подозревали. Меняя позицию за позицией, вы нежданно оказываетесь во Вьетнаме, но все без толку, у вас по-прежнему впечатление, что она уже поглядывает вам через плечо и улыбается следующему. Вы стискиваете зубы, зовете на помощь, орете: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», но в тот момент, когда вы уже едва дышите и во рту у вас черт знает что, когда вы готовы лопнуть от возмущения ее требовательностью и практически доведены до ничтожества, висите, можно сказать, на волоске, вдруг слышите, как она иронически шепчет вам:

– Милый, а в ухо ты не пробовал?

И это все, крах. Вы испускаете дикий вой, превращаетесь в садиста, измываетесь над ней, но она все это уже изведала, ей это хоть бы что, она и не замечает. Вам необходимо абсолютное оружие, вы оснащаете свою ударную силу ядерным мечом, хотя прекрасно понимаете, что пытаетесь удовлетворить ее с помощью протеза. И начинается самая древняя идеологическая дискуссия в мире, выяснение, кто есть кто: она фригидна или вы импотент, и дискуссия эта быстро переходит в обмен взаимными обвинениями, ударами и анафемами.

В сущности, ей нужно одно: чтобы ее поимел сам Господь. Но я вам кое-что скажу, строго между нами, по большому секрету: Господь, Он не мужчина.

Но, тс-с.

## 22. Идеальная пара

На всякий случай я все-таки глянул на небо: нет, ничего, никаких знаков. Все та же безбрежность, но никакой формы не принимающая. Так что вотще взгляд Лили мечтательно устремляется в бесконечность. Тем паче что Талмуд учит, что Могущество возносится, а не опускается, оно воздвигается, а не опадает; по утверждению же Каббалы, каковую точку зрения разделяет и Тейяр де Шарлен, оно устремлено «ввысь», а не «вниз», отчего с земли видны лишь небесные сферы. В соответствии же с «Махабхаратой», человечество, дабы обрести удовлетворение, должно подниматься к божеству в позиции, в какую поставил его Кришна на некоторых барельефах непальских храмов. Но вполне возможно, это только лишь с точки зрения Духа. В любом случае Лили в земной своей ситуации обречена лишь мечтать. И совершенно напрасно Элеазар бен Зохай во второй своей притче говорит о «земной Корове, которую покрывает небесный Бык». Увы, это всего лишь благочестивая надежда.

Она прислонилась к скале, воздела глаза к небесам и ждет. Не хотелось бы мне быть непочтительным к столь знатной даме, но должен сказать, что она здорово смахивает на девицу, вышедшую на промысел. Ее дивные глаза не лишены некой томной выразительности. Она проводит руками по бедрам, по груди и ждет. Но если ей и сейчас требуется вечность, чтобы получить наслаждение, то мы здорово влипли.

И тут я заметил, что на траве лежит никак не меньше десяти пар аккуратно сложенных брюк и стоит несколько пар обуви. Неплохо для понедельника. Есть нечто смиренное и в то же время трогательное в столь ясно обозначенных пределах, что положены человеку перед безмерностью небес. Мне пришло в голову, что Всемогущему не стоило бы с таким удовольствием упираться на нашу ограниченность. Я даже задался вопросом, а не свидетельствует ли подобное упорство о том, что у Него возникли кое-какие тайные сомнения. Потребности Лили таковы, что Небо явно должно усомниться в собственных возможностях.

Лили вздохнула. Флориан, который в этот момент стругал палочку, покачал головой:

– Прекрати, дорогая. Не надо отчаиваться. В четыре у нас поезд в Гамбург. Нас ждет доктор Шпиц. Он самый знаменитый после Фрейда, с этим согласны все. Он совершает подлинные чудеса, и о некоторых он поведал в своей книге «Очарованная душа»\*. Вспомни жену банкира, которая была способна отдаться только при тревожном звонке охранной сигнализации сейфа, но от этого просыпался ее муж, и поэтому она никак не могла удовлетворить свое желание. Доктор Шпиц, дорогая, решил ее проблему. А та женщина, которая могла испытать небесное блаженство только у окна отеля «Риц» в Париже, глядя на Вандомскую колонну? Доктор Шпиц помог и ей. Теперь ей не нужны монументы, она прекрасно обходится тем, что есть под рукой. А та, что способна была получить удовлетворение только в автомобильных пробках? Или еще одна, которая получала наслаждение лишь в объятиях жокея, весящего ровно пятьдесят килограммов триста граммов? Сейчас, дорогая, это обыкновенные, приличные женщины, доктор Шпиц занялся их душами и расшифровал их. Тебе нужно просто что-то чуть-чуть отрегулировать, вот и все.

– Ты так думаешь?

– Уверен, любимая. В психоанализе есть ответы на все. Он выводит душу из тех бездн, из тех неосознаваемых глубин, где она беспомощно барахтается. Вспомни про женщину, чей муж, прежде чем овладеть ею, должен был переставить всю мебель, а потом поднести ей хлеб

\*Также название романа-эпопеи Ромена Роллана (выходил с 1922 по 1933 г.).

и соль вместе с редчайшей афганской почтовой маркой. А про ту молоденькую аптекаршу из Берна, которую, чтобы она осмелилась отдаться, необходимо было подбодрить двадцать одним артиллерийским залпом. И еще про одну, которая требовала от мужа, чтобы он изображал рев реактивного самолета. Ах, это мечтательное человечество, бездонные тайны души, какие сокрытые сокровища, сколько разнообразия! Так вот, любимая, все они теперь стали приличными любящими женами. Доктор Шпиц, вне всякого сомнения, величайший специалист по счастью после доктора Маркса. Он разрешит все твои проблемы, я в этом уверен.

Лили, похоже, успокоилась. Она сняла соломенную шляпку, бросила ее на траву. Ее белокурые локоны открылись во всем своем сияющем великолепии. На ней прелестное легкое летнее платье в желтый цветочек и сандалии. Она зажмуривает глаза и подставляет лицо солнцу.

Вокруг нее не осталось и следа всего того легендарного антуража, которым мое воображение на миг наделило ее. Обычная девка со своим котом в перерыве между двумя клиентами. Лес Гайст – излюбленное место встреч парочек, проходящих сюда для скоропалительных соитий. Однако перемена оказалась такой резкой, такой внезапной, что я вдруг ощутил какое-то неясное дурное предчувствие. Я даже не могу точно объяснить, в чем оно выразилось. Могу сказать лишь одно: уже несколько секунд у меня было ощущение, будто я *не в себе*. Вы мне ответите, что это человеческое, слишком человеческое, однако чувство, будто ты *в ком-то другом*, заводит весьма далеко. Например, я почувствовал, что меня окружает настоящая ненависть. Вы опять же скажете мне, что это нормально, обычный антисемитизм, однако у меня вовсе нет впечатления чего-то естественного, а совсем наоборот – противоестественного. Этим я хочу сказать, что ненависть направлена вовсе не лично на меня, напротив, я ощущаю даже некие легкие дуновения симпатии; нет, как мне показалось, объектом этой яростной неприязни является сама природа, вся целиком, вплоть до самой ее материнской утробы. Я не очень отчетливо понимаю, что происходит. Впечатление такое, будто меня окружает *сознание*, будто тут находится кто-то, у кого давние счеты с Лили, с Флорианом, с любовью, со всем лесом Гайст. Но это не мог быть Бог; чувствовалось, что тут проявляется кто-то, кому отнюдь не наплевать, совсем даже наоборот. А сознание предполагает человека. Человек. . . И я изрядно обеспокоился. Пределы Бога прекрасно известны, они не слишком велики, а вот у человека они безграничны, и он способен на все.

Куда же это я, однако, вляпался?

К тому же хмырь, способный так перевернуть все вверх дном, должен быть импотентом. Вы скажете мне, что, слава Богу, все мы импотенты и потому пытаемся вознаградить себя за это, старательно совокупляясь. Но для того, чтобы мужчина с такой злобой обвинял Лили во фригидности, он должен быть безумно влюблен в нее. И тут-то кроется главная опасность. Этот хмырь чувствует себя до того бессильным и до того влюбленным, что рано или поздно Лили покончит с собой. И это будет концом неудовлетворенности.

Флориан сдвинул шляпу на затылок. Он взял одну из книжек и, чуть наклонясь и опершись локтями на колени, стал ее перелистывать. Эта парочка сидит в таком ласковом, таком чудном освещении. Их как бы окружает имманентная жизнерадостность, словно природа изо всех сил старается понравиться своим самым давним спутникам. Может, она тоже пытается заставить полюбить, заставить взять себя. Должно быть, природа тоже мечтательна. Внутри нее затаена неудовлетворенность.

– Подумать только, – бросает Флориан. – Я тут нашел забавную вещь. Знаешь, как кличут тебя индейцы из Мато Гроссо?

Я был несколько шокирован этим «как кличут тебя», прозвучавшим из уст Флориана. Все-таки смерть Сократа, Святого Людовика, Иисуса, не говоря уже о множестве других, должна

была бы повлиять на язык Флориана и научить его обходиться без вульгаризмов. Впрочем, он тут же спохватился:

– Дорогая, знаешь, как они тебя называют?

– Как?

– Нандерувуву. А для друзей просто Вуву.

Лили пожала плечами. Ей это все равно. Она привыкла. Ей уже столько имен давали.

– Ну перестань, дорогая, – с упреком произносит Флориан. – К чему этот скепсис? В жизни существует много интересного, кроме счастья. Тебе стоило бы перелистать эту книжечку. Она называется «Аспекты мифа» и вышла в серии «Идеи» в карманном, как видишь, издании. А знаешь, какую молитву вкладывают в твои уста индейцы гуарани из Мато Гроссу? *«Я сожрала много трупов, я наелась до отвала. Отец, помоги мне насладиться!»*

Лили вздыхает. Я тоже. Вся природа вздыхает вместе с нами. Можно сказать, это вопль, исходящий из сердца каждой былинки, каждой мошки.

– Как видишь, дорогая, они прекрасно знают тебя. Можно говорить все что угодно, но к тебе стремятся везде. Кстати, я слушал в Гарлеме одного проповедника, так он утверждал, что следующий Мессия будет негром. Кажется, у них огромные способности по этой части.

Но Лили по-прежнему ласково смотрит в небо. Боюсь, не питает ли она чрезмерных иллюзий. Нет, я не хочу сказать, что небо нечувствительно к ласке, но надо все-таки учитывать его преклонный возраст. Как-никак оно насчитывает миллионы световых лет. Впрочем, почему бы ей и не попробовать. Хотя его не так-то просто растрогать.

– Поди ж ты, – с удивлением произносит Флориан. – Оказывается, я неправильно процитировал. Ну, последние слова молитвы, которые приводит автор Мирча Элиаде, – надо будет мне запомнить его фамилию, похоже, он может оказаться небезынтересен для нас... Так вот, последние слова молитвы, которую они приписывают тебе, звучат не *«Отец, помоги мне насладиться»*, а *«Отец, помоги мне кончить»*. Что, впрочем, одно и то же.

Похоже, Флориан страшно доволен собой.

– Я и не предполагал, что так хорошо знаю индейцев гуарани. Право же, порой мне кажется, что мои старания недооцениваются.

Бабочки и прочие насекомые все так же падают к его ногам. Лили глянула на многоцветную кучу, уже доходящую ему до колен, и нахмурила брови:

– Флориан, прошу тебя, прекрати. Это отвратительно.

Он взъярен. Щеки его залила бледность. Похоже, Лили попала в чувствительное место.

– Дорогая, ты же прекрасно знаешь, что я это не нарочно, – несколько напыщенно произносит он. – Я ничего не могу поделать. Неужели ты думаешь, что мне, Смерти – Смерти Цезаря, Смерти Наполеона, – это доставляет удовольствие? У меня это нервное.

Лили опускает голову. Взгляд ее вернулся на землю. Она замечает обувь и аккуратно сложенные брюки.

– Флориан.

– Да, дорогая.

– А кто был тот солдатик с дурацкой физиономией?

– Откуда ж мне знать? Просто солдатик с дурацкой физиономией.

– Но, в конце концов, нельзя же убивать человека, не поинтересовавшись потом, кого ты убил. Обычно все-таки узнают, кто это был.

На лицо Флориана возвращается улыбка, и он отвечает ироническим тоном:

– Дорогая, старый профессионал вроде меня лишен любопытства подобного рода. Меня уже давно не интересует физиономия клиента. Они хотят доставить тебе наслаждение, хорошо, я их отвожу к тебе. Они всходят на тебя, я их снимаю. Их следует покарать за их

невероятные притязания. Ну пойми же, не могу я ласково склоняться над каждой мошкой, имеющей амбиции достичь величия и могущества, которая, потерпев крах, падает на дорогу. Да и тебя они только нервируют.

Однако Лили стоит на своем. Ей главное выдержать стиль, манеры. Она шокирована.

– И все-таки ты должен был бы записать его фамилию. Сообщить, что ли, его семье, право, не знаю. . .

– Дорогая, наивысшие почести достаются неизвестному солдату. Разумеется, случается клиент, который оказывается на высоте, вот тогда мы записываем его имя для потомков. Устраиваем в честь него праздник. . . Его. . . ну да, физиономию. . . потом изображают на почтовых марках и, кстати, на разных лубочных картинках – как пример для молодежи. Но я же не могу пристально рассматривать каждую букашку. Они разочаровывают тебя, я их убираю. Таков закон. Это История.

Я изрядно потрясен вульгарностью его голоса; в нем чувствовался такой беспредельный цинизм, и только запах чесночной колбасы придавал Флориану что-то человеческое. Подобная грубость кажется мне просто непозволительной, особенно в присутствии столь знатной дамы. И вообще мне представляется, что общение с небытием отнюдь не означает обязательного скатывания к непристойности, совсем даже напротив. Притом тут мы имеем дело с древнейшей профессией в мире, от которой идет все наше величие, наше достоинство и которая придает нам трагический характер.

Она встряхивает своими чудесными волосами, что окружают ее лицо ореолом, вобравшим в себя все золото Флоренции.

– Они такие ограниченные, это просто ужасно. А до чего они посредственны! Их любовные сцены смахивают на таможенный досмотр, из их объятий выходишь, как после обыска, а все их ухищрения, их пресловутое искусство любви, которым они так чванятся, похоже на приемы карманника, я так ни разу ничего и не почувствовала.

– Увы, это реальность, дорогая. Надо избегать ее любой ценой. Ничто не тяготит больше, чем точки над «і». Ты должна избегать реальности, она – камень на шее, не дает воспарить. Единственное, что подлинно, это мечта. Дорогая, не бывает фригидных женщин, есть лишь женщины, умеющие мечтать, и маленькие мужчинки с их крохотными ножничками, которыми они пытаются подрезать таким женщинам крылья.

Лили улыбнулась. Но нет, это не то слово, которое соответствует сему потрясающему феномену. Лес Гайст осиял весь целиком и на моих глазах превратился в поле сражения, покрытое вдохновенными трупами.

– Я умею мечтать, Флориан.

– О да, дорогая. В этом никто не сомневается. Ты это доказала. Потому-то все эти Наполеоны с птичьего двора падают вокруг тебя, как мухи. Они имеют дело с безмерной мечтой о небывалом счастье. Такое не прощается.

## 23. Брат Океан

Я затаил дыхание. Я прячусь за кустами, видеть она меня не может, да к тому же в моем нынешнем состоянии чем я рискую? Со мной она уже покончила.

Вот только я знаю себя. И боюсь собственного взгляда, это взгляд влюбленного. Я до сих пор верю, что все еще могу служить ей. И чувствую себя возродившимся, *тьфу, тьфу, тьфу*. Возродиться, этого я не пожелал бы своим лучшим друзьям.

Кто-то потянул меня за руку. Я вскрикнул, отскочил в сторону: а вдруг это Мессия, так что надо рвать когти, пока есть время. Нет, это Шатц. Лицо у него серое, он едва держится на ногах.

– Вы ничего не чувствуете?

А ведь и правда, что-то есть. Нет, это не то, что называется преследованиями, но тем не менее такое впечатление, что меня пытаются прогнать, что кто-то хочет от меня избавиться. И не только от меня. От Германии, от евреев, окончательно от Лили, от Флориана и от этого самого леса Гайст. Некая воля к полному разрыву, к отвержению всего нашего Воображаемого музея, включая и реальность. Подумать только, здесь есть какой-то хмырь, что пытается очиститься, изгнать из себя всех нас со всеми нашими манатками и примочками, со всеми нашими световыми годами и нашей историей, причем используя средства, природу которых я еще не очень понимаю, но от которых на километр несет шарлатанством. Будь я верующим, я сказал бы, что это Бог пытается сотворить мир, идея которого у Него когда-то возникала, но это при том условии, что существующий мир мы считаем Божьим творением, каковое оскорбительное предположение не придет в голову даже атеисту.

И вдруг я возмутился и меня охватил такой страх, что теперь я уже не уверен, действительно ли хотят меня ликвидировать. Вполне возможно, тут задумано кое-что похуже. Быть может, меня хотят воскресить, вернуть мне плоть и, не приведи Господь, сделать бессмертным, а это уж, без всякого сомнения, будет гнусней всех гнусных штук, которые проделывали с евреями. Воскреснуть, уж этого я точно не пожелал бы своим лучшим друзьям.

Я покрылся гусиной кожей, а это само по себе крайне тревожный физический признак. И впрямь, как бы меня не собрались воскресить, если только не придумали чего-нибудь еще. Тут готовится какая-то пакость, это совершенно точно, но какая? Еврейско-германское примирение? Нет, существуют же пределы даже для пакости.

– Что же тогда?

И тут я вспомнил, что из Страстей Христовых тысячи прохвостов настрогали тьму замечательных произведений. Они слетелись на Его муки, как мухи на навоз. Ну а если спуститься чуть ниже, то, помнится, на трупах Герники Пикассо сотворил «Гернику», а Толстой попользовался войной и миром для своей «Войны и мира». И мне вдруг подумалось, что об Аушвице столько разговоров по той простой причине, что не создано еще шедеврального литературное произведение, чтобы зачеркнуть его.

Может, именно сейчас какие-нибудь подонки втихаря гложут меня и обчищают карманы, чтобы легче от меня избавиться?

И как раз в этот момент, как по заказу, я почувствовал себя виноватым. А поскольку упрекнуть мне себя не в чем, вину испытывать может только *он*. Вот поэтому он и пытается меня изничтожить.

Впрочем, сейчас не время заниматься талмудическими тонкостями. Несомненно одно: угроза, причем та же самая, нависла и надо мной, и над Шатцем. Достаточно глянуть на его физиономию. Он перепуган до смерти. Я попытался спокойно поразмыслить. Не думаю, чтобы Лили каким-то концом была в этом замешана. Она со мной уже покончила. Все, что я могу теперь ей предложить, это духовное утешение. Флориан? Да нет. Уж на что на что, а на душу ему глубочайшим образом наплевать.

Шатц схватил меня за руку.

– Отпусти, дубина! Для нас свинья нечистое животное.

– Хаим, поймите, не время нам ссориться. Тут есть тип, который пытается нас пришить.

– Какой тип? Где?

– Мы не можем его видеть. *Мы внутри него.*

Я еще пытаюсь хорохориться:

– Что за бред вы несете? Опять начался приступ?

– Хаим, я уже двадцать лет хожу к психоналитикам. Я знаю, что говорю.

– Уж не думаете ли вы, будто я не знаю? Думаете, мне неизвестны ваши подленькие попытки избавиться от меня. . .

И тут я заткнулся. Бог ты мой! Он прав.

Шатц глянул на меня:

– Теперь понимаете?

Я огляделся. Лес Гайст по-прежнему залит светом, но в этом могла быть и издевка. Лили полулежит на скале и ласково поглаживает ее: нежность камня к камню. Флориан сидит рядом с ней и читает какую-то книжку из «Черной серии»\*. Небо, похоже, выглядит вполне нормальным, пустым. Флориан закрывает книжку, берет номер «Плейбоя» и начинает его перелистывать. Как все истинные профессионалы, он непрестанно изучает анатомию. Откуда-то издали донесся звук рога. Этот незримый рог был единственным подозрительным элементом. Фаллический символ? Кой черт, с чего это мне пришла в голову такая мысль?

– Это порочный тип, – плаксиво протянул Шатц. – От него можно ждать чего угодно.

Я промолчал.

– Хаим, мы попали в подсознание сексуального маньяка.

Я продолжаю молчать как рыба, пытаюсь сохранять спокойствие. В мире, который ожидает собственного сотворения, все возможно. В темноте может происходить мелкое шарлатанское творение любой сволочной пакости. Однако сама мысль, что я, вполне возможно, являюсь простым психоаналитическим элементом, невыносима для меня. И тем не менее, чем глубже я вдыхаю, тем больше убеждаюсь, что пахнет все это весьма скверно, а чем скверней это пахнет, тем вероятней становится возможность, что мы имеем дело с подсознанием. Кстати, от всего этого – виновность, еврей, нацист, небытие, импотенция, фригидность, небесный бык – на тысячу лье воняет душой.

– Он пытается выbleвать нас, – прошептал Шатц.

При этом он жалобно сопел. Для них это типично. Ему не важно, где, как, в чем, с кем, лишь бы существовать.

– Я мог бы понять, если бы он пытался выbleвать нациста вроде вас, – ответил я. – Но почему меня?

– В его мозгу мы соединены, – объяснил Шатц. – Это нормально.

Его слова настолько чудовищны, что я зашелся безумным хохотом. Одна мысль, что слову «еврей» в *нормальном* процессе ассоциаций отныне может соответствовать слово «немец»,

\*Карманная серия, в которой печатаются полицейские и детективные романы.

является истинным апофеозом человеческого.

Я глубоко вздохнул и на глазах остолбеневшего Шатца пустился в пляс. Эх, раз-два-три! Раз-два-три! Я заставлю его отведать нашу старую *хору*, и можете поверить мне, сапогами я топал вовсю, выдал ему по полной, так что, надеюсь, ему пришлось покорчиться. Если мне хоть капельку повезет, я этому курвину отродью опять устрою небольшой травматический шок. Подсознание, оно для этого и создано.

– Вы что, спятили? – изумился Шатц. – Сейчас не время для танцев!

– А я и не танцую, – ответил я. – *Я топаю*.

И раз-два-три! Через некоторое время я почувствовал себя гораздо лучше, и мне очень бы хотелось знать, как себя чувствует он. Видать, не здорово. И доказательство тому – я больше не испытываю страха. Я снова ощутил уверенность. Я здесь и здесь останусь. Не скажу, что мне безумно нравится в его дерьмовом подсознании, но, скажите, куда мне податься? Здесь мне так же худо, как в любом другом месте. Я хотел бы отправиться на Таити, на берег Океана, но ведь всюду и всегда это опять будет то же самое подсознание. Коллективное.

И только одного я не предвидел: Шатцу, если судить по его виду, тоже стало лучше. Похоже, защищаясь от изгнания, я защитил и его, хотя и вопреки своему желанию. Он успокоился. Вытащил из кармана трубку, разлегся на траве и закурил. Насмешливо глянул на меня и произнес:

– Спасибо, Хаим. Вы меня спасли.

На секунду я даже лишился дара речи, весь ужас моего положения ясно предстал передо мной. Неужто и впрямь жертва и палач обречены быть неразлучными до тех пор, пока будет жив род людской?

Наверно, надо будет позволить извергнуть себя, согласиться на исчезновение, полностью раствориться в Океане, дружественном, а может, и нет, но он хотя бы дает вам возможность в нем утопиться. Единственное, что нужно, чтобы этот хмырь сделал усилие, достойное меня. Нужно, чтобы он изошел кровью, чтобы он изbleвал меня вместе с лохмотьями своей плоти. Надеюсь, у него достанет на это таланта. Я бы предпочел, конечно, гениальность, но ее, увы, не существует, иначе мир уже давно был бы сотворен.

А пока я возвращаюсь к Лили. Всегда же возвращаешься к ней. Можете вы назвать мне имя хоть одного человека, которому удалось ускользнуть от нее живым?

## 24. Все импотенты

Она склонилась над камнем, печальное лицо обрамлено сияющими локонами. Мне показалось, что я заметил на нем следы слез. Но это были явно мои слезы.

– Флориан, у меня иногда возникает желание умереть.

– Спасибо, любимая. Я бесконечно тронут. Это самый большой комплимент, который ты сделала мне.

– Исчезнуть раз и навсегда, больше не искать, не ждать, не страдать. Больше не быть. Понимаешь, Флориан?

– Это произойдет. Однажды тебя не станет. Люди работают над этим. Немножечко терпения. Рим тоже не сразу строился.

Чувствую, она действительно начинает впадать в уныние, теряет терпение, и я ее понимаю. Тщетно бросать ей под ноги полторы сотни замечательнейших изображений Христа и три сотни изображений мадонн, играть Дебюсси – она знает, что это высокое искусство, но, по сути, все оно только для отвода глаз.

– Ну почему они такие торопливые, такие эфемерные? Неужели они думают, что я смогу реализовать себя при такой спешке? А какое короткое у них дыхание, какая короткая жизнь!

– Краткий акт.

– А выражение их лиц, их гримасы!

– Благовоспитанные девушки, дорогая, в такой момент обыкновенно закрывают глаза.

– Когда я отдаюсь им, можно подумать, что сейчас все океаны выйдут из берегов, все корабли потерпят крушение, извергнутся все вулканы, а к чему все сводится – к сопению!

– Да, это лирические клоуны, которые только и думают, как быстрее отработать на арене свой номер.

– А их обещания! Они разглагольствуют о безднах, о небесах, о безумных солнцах и хмельных созвездиях, а потом закуривают сигарету.

– Они слишком много курят.

– Но ужасней всего их руки. Угасшие, унылые руки, и такие тяжелые, они их кладут на тебя, как будто садятся. . .

– Да, да, давящие руки.

– А их ласки, Флориан! Женщины знают, что войны будут всегда. И ничуть не удивляются, что мужчины сносят с лица земли города и уничтожают население. Это их ласки.

– Все импотенты, дорогая. На свете только ты и я умеем любить по-настоящему.

И он нежно поцеловал ей руку. Показалось мне или я действительно уловил во взгляде Лили оттенок жестокости и насмешки?

– Да, Флориан, ты величайший любовник. Ты ни разу не прикоснулся ко мне.

– Спасибо, дорогая.

– Ты ни разу не разочаровал меня.

– В этом-то и весь секрет. Абсолют, с ним нужно тонкое обхождение. Кстати, истинные зрелые мужчины, мужчины вроде меня, безо всяких изъянов. . . гм-гм. . . если не считать совершенного пустяка, – испытывают отвращение к физиологии, к плотскому, им ненавистно держать в руках, обладать, иметь. Им вполне достаточно мечтать и помогать мечтать тебе. Вот так избегают посредственности.

Лили кончиками пальцев нежно поглаживает скалу, ласкает извечную твердость.

– Флориан, ты считаешь, что я слишком требовательна и придирчива?

– Помилуй, дорогая, что за идея! Ты провидишь великое, только и всего. У тебя мозги устроены совершенно по-другому. Ну да, возможно, ты излишне капризна, чуть-чуть фантазерка, всегда стремишься к невозможному. . .

Он умолк. Мне показалось, или Флориан действительно обиделся? А Лили поднимает глаза с трогательной и даже страстной улыбкой, в которой читается – как бы это сказать? – да, именно читается некое обещание, и взгляд ее снова стал блуждать по небу.

Я опять ощутил беспокойство. Уж очень подозрительно, что этот хмырь, который приютил меня, все время косится на Бога. Нет, в его подсознании я решительно не нахожу ничего стоящего. Я даже подумал, а вдруг это истинный христианин, но тогда какого черта я в нем делаю?

Флориан смущенно кашлянул:

– Послушай, дорогая, может, тебе есть смысл чуть-чуть уменьшить свои притязания. . . Совсем немножечко.

Лили скорчила недовольную гримаску, грациозно склонила голову и положила ее на плечо Флориану. При этом она что-то мелодично мурлыкает, играя со своими кудрями. Лицо ее настолько совершенно, что так и подталкивает к совершению преступления на почве страсти. У меня появилось предчувствие: в ближайшие дни в каком-нибудь темном закоулке леса Гайст ее разорвут на куски.

– Какая тишина! – прошептала она. – Можно подумать, природа затаила дыхание.

– Она любит тебя, дорогая.

– Флориан, почему никогда ничего не происходит?

– Да нет же, происходит, и многое, просто ты чуточку рассеянная и не замечаешь. Вот, например, произошло великолепнейшее *Распятие*, ему многократно подражали. О нем даже до сих пор говорят, и в очень лестных для тебя выражениях. Замечательные крестовые походы, костры, инквизиции, несколько весьма показательных революций. . . И все ради твоих прекрасных глаз. О нет, я не стану утверждать, что им удалось, но как-никак они пытались. . . Да, пытались.

– Мне не нужны развлечения. Я люблю серьезные вещи.

– Гм. . . Я знаю, дорогая. Но для них это имеет историческое значение. Им вечно необходимо проявить себя. . . к сожалению.

Она раздраженно передергивает плечами.

– А что, по-твоему, серьезной женщине делать с их крестовыми походами, революциями? Они просто-напросто хотят вывернуться.

– Как вывернуться?

– Они вечно делают вид, будто чем-то страшно заняты. Все изображают из себя эдаких виртуозов, Паганини, но когда выходят на сцену, неизменно оказывается, что они забыли своего «Страдивари».

Я прыснул со смеху. Просто не смог удержаться. Она, правда, меня не слышала.

– А потом они утверждают, что я фригидная и что у меня – у меня! – чего-то недостает!

– Ну, таким образом они хотят с честью выйти из сражения. Не плачь, дорогая.

– Я иногда задаю себе вопрос, почему я все еще продолжаю искать. Уж лучше мне покинуть этот мир.

– Большого удовольствия ты им не могла бы доставить. Когда мужчина начинает испытывать. . . некоторые затруднения, он все делает так, чтобы его любовница бросила его. Изящество хамья. Позволь мне утереть твои слезы.

Он проделал это с потрясающей нежностью. Да, этот Флориан величайший осушитель слез. Он лишь провел рукой, и все, слез как не бывало.

– Ах, как ты прекрасна! Куда ты смотришь?

– Там, внизу, большой белый дом. Мы могли бы сходить взглянуть на него.

– Это доминиканский монастырь, дорогая.

– Ну и что?

– Дорогая, ты же прекрасно знаешь, с религией мы пробовали, и неоднократно. Результат нулевой.

## 25. Козел

И тут я припомнил, что у нас уже 1967 год, а Лили так ни разу и не испытала наслаждения и что ей осталось совсем немного времени, если принять во внимание ту злость и досаду, которую она возбудила во всех, кто разочаровал ее и в открытую готов избавиться от столь компрометирующего свидетеля их импотентности. Я решил помочь ей реализовать себя и постарался вспомнить все, чему я научился у рабби Цура из Бялостока по части *хохм*, Каббалы, а также кое-какие советы наших пророков, которые, быть может, позволят ей достичь наслаждения. И мне показалось, что есть одна идея. Искать в Писании этот совет не стоит, его придумал рабби Цур. Как-то к нему явился бедный дровосек по имени Мотеле.

– *Ребе*, – обратился он к рабби Цуру, – я так больше не могу. У меня сварливая жена, одиннадцать детей, три тетки и теща, которая одна стоит десяти. Мы до того бедны, что живем все в одной-единственной комнате. Я больше не в силах выносить такую жизнь. Если ты не найдешь выход, я наложу на себя руки.

Рабби Цур надолго задумался.

– Ладно, – сказал он, – я дам тебе совет. Возьми козла, и пусть он живет с вами в вашей единственной комнате.

– *Арахмонес!* – возопил несчастный Мотеле. – Рабби Цур сошел с ума! Я живу в этой проклятой комнате вместе со сварливой женой, одиннадцатью детьми, тремя тетками и тещей, которая одна стоит двадцати, а ты велишь мне взять еще и козла! Ты это серьезно?

– Делай что тебе говорят.

В Бялостоке всегда слушались рабби Цура. Он прославился глупостями, которые совершал, но которые позволили ему достичь мудрости. Мотеле подчинился. Но каждый день он приходил к *ребе* и жаловался ему.

– Я взбешусь от этого козла, – плакался он. – Он всюду ссыт, все крушит, от него страшная вонь, я не выдержу!

Так продолжалось две недели. Наконец Мотеле ворвался в дом к рабби Цуру и, таская себя за волосы, зарыдал:

– Я повешусь! Я больше ни дня не могу жить с этим козлом! Сделай что-нибудь!

Рабби Цур надолго задумался.

– Хорошо, – сказал он наконец, – выгони этого козла к чертовой матери.

Мотеле выгнал козла и до самой смерти жил счастливо, благословляя рабби Цура.

Чем больше я думаю о козле, тем больше мне кажется, что это и есть возможное решение проблемы Лили. Убежден, что рабби Цур и сам бы ей посоветовал что-то в этом роде. Правда, она, возможно, уже это проделывала, поскольку наше время, слава Богу, не оскудело мудрецами, и – от Сталина до Гитлера – козел после своего ухода сумел осчастливить множество людей.

Я уж было собрался подсказать этот способ Лили, но тут услышал треск валежника: кто-то приближался, хрипло дыша. Уж не дикий ли это вепрь, подумал я. А почему бы и нет? В том положении, в каком находится Лили, ничего нельзя сбрасывать со счета. Оказалось, нет: ветки раздвинулись, и я увидел пылающую физиономию полицейского Грюбера из службы дорожного движения города Лихта. Но вместо обычного белого жезла регулировщика он держал в руке большущий пистолет. Этот будущий герой явился сюда произвести сенсационный захват, надеть наручники на величайшую преступную парочку всех времен и покрыть себя

славой с головы до пят. Он вылез из кустов и вперился в Лили, нацелив на нее пистолет. Палец он держал на спусковом крючке и был так перепуган, что дрожал всеми своими членами без исключения; он был вполне способен выстрелить не задумываясь. Я попытался встать, но лишь еще глубже погрузился в какую-то вонючую и вязкую жижу, которой еще секунду назад тут не было; стараясь выбраться из этого дерьма, я только глубже увязал в нем; да, больше никаких сомнений, Шатц прав, мы попали в подсознание исключительно порочного субъекта, который даже сам не понимает, чего он хочет: то ли намеревается вышвырнуть меня из себя, то ли, напротив, пытается удержать. Явно какой-нибудь интеллектуал, потому что у них вечно то небо, то полиция, то Господь Бог, то человечество, то небытие, то солонка, то Большой Ларусс, то лейка с погнутым носом. Я попытался крикнуть, предостеречь: этот кретин Грюбер совершенно не соображает, с кем имеет дело; представителей столь старинного и прославленного рода – второго такого не сыщешь на протяжении пятисот световых лет – так запросто не сразишь, а уж тем паче не удовлетворишь, особенно на немецкой территории да еще посреди леса Гайст; а потом будут говорить, что, мол, немцы никогда не изменятся, они всегда готовы начать снова. Но я почти сразу же смекнул, что ни малейшей опасности Лили не угрожает. Да, конечно, этот Грюбер до того возбужден, что способен нажать на спусковой крючок, однако его бьет такая дрожь, что даже если он все-таки выстрелит, пуля уйдет за молоком. Лили взглянула на пистолет, но не перепугалась, а улыбнулась. Что же до Флориана, он со скучающим видом скрестил на груди руки. Пистолет, похоже, очень заинтересовал Лили. Впечатление такое, будто он придал ей надежды, будто она исполнилась доверия. Она кокетливо провела рукой по волосам и. . . Мне не хотелось бы выглядеть непочтительным, но я вынужден сказать, что, несмотря на свою поразительную красоту и всю импрессионистскую прозрачность, окружающую ее, – эти ребята умели писать свет, – у нее был вид заурядной шлюхи. Я опечалился. Стоит нашим шедеврам выйти из музея, одному Богу ведомо, где и в каком состоянии их обнаружишь.

– Добрый день! – приветливо бросила она.

– Именем за. . . за. . . за. . . – пошел заикаться Грюбер.

– Флориан, посмотри! Как он прекрасно вооружен!

Флориан устало опустил веки.

– Дорогая, мы уже испробовали полицию. И ничего это не дало.

Лили скорчила гримаску:

– Те просто не знали, с какой стороны взяться.

– Дорогая, а гестапо? Ты несправедлива.

– Флориан, я обожаю полицию. . . – она бросила на полицейского Грюбера томный взгляд, – . . . особенно если она хорошо сложена.

– Именем за. . . закона! – слегка охрипшим голосом выдавил наконец из себя предмет обсуждения.

– Конечно же!

– Ты уже тысячу раз пробовала это, дорогая, – с легкой интонацией нетерпения промолвил Флориан. – Они все уже постарались для тебя. По правде сказать, не понимаю, чего еще ты можешь ждать от полиции. Это не решило твоих проблем. Вспомни, дорогая, после этого ты чувствовала себя еще несчастней.

– Помолчи, Флориан. Ты ни во что не веришь. Полиция так сурова, так бескомпромиссна. . . Так энергична!

– Армия в этом смысле ничуть не хуже.

– Так проста, так непосредственна! – Лили расстегнула поясок. – Флориан, у полиции есть ответ на все. Она поддерживает спокойствие. . . мир. . . Она внушает уверенность. . .

Всякая... вещь на своем месте, свое место для всякой... вещи...

– Я... я... я... – блеял представитель закона.

Он все еще сжимает оружие, сжимает обеими руками, но уже околдован, ослеплен, не способен сопротивляться авансам столь знатной дамы – только представьте, сколько о ней сложено легенд; ему столько рассказывали о ней, по-разному, начиная со школьной скамьи; он даже сходил в Мюнхенскую пинакотеку, чтобы посмотреть на нее, Дюрер, Гёте в Веймаре, прекраснейшие в мире замки, он попадет, мурак, на эту удочку, это у них в семье наследственное, дед в 1914–1918-м, отец под Сталинградом, дед погиб, отец погиб, но они ошиблись с выбором, не на то поставили, у них не получилось, потому что их неправильно вели, на этот раз все будет как надо, НПГ знает, что нужно делать и куда идти... Полицейский Грюбер делает еще шаг вперед.

Это уже пахивает исполненным долгом. Весь лес Гайст провонял козлом. Полицейский Грюбер шагнул еще. У него всего один голос, но он готов сунуть его в урну, готов жить рискованно. Он обрел дух приключений, страсть к риску. Это обновление. Лили посылает ему сладкую улыбку, и я заметил, как нетерпеливо она постукивает ножкой.

– Флориан, посмотри, какой у него вдохновенный вид, посмотри на его руки, готовые мять, лепить, на его палец, лежащий на спусковом крючке... А как он красиво целится! Я знаю, он не промахнется!

– Я... я... я...

Шатц попытался удержать Грюбера, но я, сам не знаю почему, встал перед ним, и Шатц стремительно попятился. Он смотрит на меня, изумленно хлопая глазами, и ничего не понимает. По правде сказать, я и сам ничего не понимаю. И даже подумал: а что, если этот хмырь, которого я не знаю, но внутри которого нахожусь, в глубине подсознания втайне желает, чтобы Германия вновь стала нацистской. Возможно ли это? Хотя разве я сам не воспринял с улыбкой легкого удовлетворения весть об успехах неонацистов в Баварии, в Гессене? Иногда у меня возникает ощущение, что Гитлер причинил нам куда больше бед, чем мы способны вообразить.

А юный германец уже явно пребывает в состоянии благодати: маленький абсолют – вот он, рукой подать, он улыбается ему; глаз у полицейского Грюбера уже ни дать ни взять глаз зарезанного петушка.

– Я... я...

– Ладно, – кивнул Флориан. – Вон там есть грот. Но советую, молодой человек, прежде чем ступить на путь ваших предков, хорошенько подумать. Мадам терпеть не может разочарований. А ее вкусы удовлетворить очень трудно, ибо она устремлена к совершенству. Ее полнит ностальгия, равная ее красоте. Ежели вы окажетесь недостойны ее доверия...

– Флориан!

– Это я чтобы подбодрить его, дорогая. Человек, который предупрежден, стоит двух.

– Какой лоб! Взгляни на этот лоб, Флориан!

– Да, лоб у него есть.

– Сколько в нем благородства! Флориан, это не лоб, это чело, и я вижу, что это чело отмечено судьбой.

– Да, я тоже вижу.

– Это вождь. Он рожден повелевать, подчинять себе, вести человечество к светлому будущему! Флориан... У этого мальчика в ранце маршальский жезл!

– Да, да, дорогая, идите.

Флориан взглянул на претендента, и в его взгляде промелькнуло что-то вроде сострадания.

– Не желаете кусочек колбасы?

– А какой лучезарный взгляд!

Лили встала:

– Прощай, Флориан. Я больше не нуждаюсь в твоих услугах.

– До скорого, дорогая.

Флориан, он очень обостренно чувствует наши возможности. Я даже испытываю к нему нечто наподобие нежности. Он не любит заставлять страдать. У нас с ним всегда были прекрасные отношения, основывающиеся на взаимном понимании и взаимном уважении. Флориан за равенство. Мой дядя Анатолий Хаим из Лодзи умер в своей постели и страшно удивил меня, потому что в последние минуты перед смертью вдруг начал дико хохотать. Я поинтересовался, что это с ним такое. «Дети мои, – отвечал он, – ведь подумать только, у меня, бедного необразованного еврея, такая же судьба, как у Юлия Цезаря!» И это все Флориан, это он в последний миг уравнивает всех.

Наконец я все-таки оторвал взгляд от этого подлинного демократа и обнаружил, что Лили уже исчезла. Полицейский же Грюбер все никак не может решиться последовать за ней. Цинизм последних двух десятилетий, отсутствие идеалов, иконоборческая пропаганда оевреившихся авторов вроде Гюнтера Грасса бесспорно оставили свой след на нем. Юный германец все еще раздумывает.

– Что же вы, ступайте! – поощрил его Флориан. – Разве вы не поняли, что она влюбилась в вас с первого взгляда? Мой мальчик, всему свету станет известно про ваш подвиг! Когда вы будете проходить мимо, женщины будут падать в обморок, и вам придется приводить их в чувство. Они проложат вам триумфальную дорогу, будут вешать венки из фиалок на... ваш памятник. Ваш образ будет витать в снах всех девушек земли, а ваш детородный орган станет объектом паломничества, и там будут происходить самые невероятные чудеса! Ступайте же, ступайте... Ублагодарите ее.

Бедняга еще несколько мгновений пребывал в сомнении. Но он молод, полон задора и верит в свой метод. И потому пускается галопом вслед за Лили.

Флориан подмигнул мне:

– Я даю ему три минуты, учитывая его крепкое сложение, исключительный темперамент и прочность убеждений. Только вот... Наполеона погубил холод.

Я не слушаю его. Я сорвал несколько цветочков. Фиалки, маргаритки, ландыши. Преподнесу ей, когда она вернется.

## 26. Де Голль отдал мне честь

Я ничуть не сомневался, что Флориан заметит меня. К тому же я припомнил, что в лесу Гайст, а также еще в некоторых прославленных местах я перестаю быть просто статистической данностью. Я становлюсь видимым. И вспомнил, как канцлеру Аденауэру, прибывшему в места преступлений нацистов возложить цветы, едва не стало дурно, когда он меня увидел. Генерал Де Голль, приехавший сюда с визитом в сопровождении многочисленной свиты, столкнувшись со мной нос к носу, отдал мне по-военному честь. Это крайне любопытно. Получается, что в Германии и в Польше существуют такие места, где я обретаю физическое обличье. И я первый, кого это удивляет, тем паче что в такие моменты я не узнаю себя. Внезапно я становлюсь огромным-огромным. Это видно по лицам людей. Можно даже сказать, что я заполняю собой все и они видят только меня. Меня это немножко смущает. При жизни я был, скорее, невысокого роста, в во всем моем виде, в выражении лица, в длинном носе, во взъерошенных, как у Харпо Маркса, волосах, в ушах, немножечко лопушистых, было что-то вызывающее смех. Кстати, меня за это упрекали, говорили, что во мне нет достоинства. Меня раздражает, когда я чувствую, что внезапно принимаю в глазах людей какие-то монументальные размеры. Я боюсь, что не смогу удержаться на высоте своего нового положения. И пытаюсь быть воплощением достоинства, важности, благородства, выставляю ногу чуть вперед, откидываю голову, как, по моим представлениям, делал бы герой. Однако чувствую себя при этом не в своей тарелке. Слишком долгая за мной привычка к смешному и к пинкам в зад. Боюсь разочаровать. Слишком все-таки большая ответственность. Ощущение такое, будто весь Израиль глядит на меня, а там они с достоинством не шутят. Помню, кстати, что, когда генерал Де Голль встал передо мной по стойке «смирно» и взял под козырек, у меня чуть было не начался приступ дикого хохота. Это чисто нервное, но попробуйте это объяснить молодым евреям Моше Даяна. Они же мне ни в жизнь не простили бы. Я все-таки сдержался. Подавил свою глубинную сущность, века и века шутовства и карикатурности. Постарался вспомнить что-нибудь печальное. Но когда имеешь опыт вроде моего, что может быть еще печальнее? Да ничего. Нет повести печальнее на свете. Когда являешься обладателем рекорда исторического мира, без новых благоприятных условий не обойтись. Ну что ж, я тоже встал смирно. Тоже отдал честь. Генерал Де Голль отдал мне честь, и я, еврейский *диббук*, неожиданно ставший видимым невооруженным глазом, тоже отдал честь. Это было ужасно. Там присутствовало еще по меньшей мере с полсотни человек, они все видели меня – я прочел это по их глазам, – первоклассная публика, быть может, последняя моя публика, и я не мог позволить себе рассмешить их. Потом, чтобы разрядиться, я всю ночь до рассвета рассказывал Шатцхену еврейские анекдоты. Он всю ночь катался от хохота.

## 27. Осечка Смерти

Я подошел ближе. На лице Флориана я уловил некую тень симпатии. Он очень нас любит. То была хорошо сделанная работа.

Флориан достал из кармана сигарету и прикурил. Но она тут же погасла. Он попробовал еще раз – с тем же результатом. Даже спичка у него в руке тут же погасла.

– Дерьмо! – выругался он.

У каждого из нас свои маленькие проблемы, свои маленькие трудности. Должно быть, это очень грустно – не иметь возможности погладить собаку, почесать кошке за ухом, держать дома птицу или какое-нибудь растение в горшке.

Шляпа и плечи Флориана усыпаны бабочками, майскими жуками, мелкими Божьими тварями. Трава вокруг него увяла, и ни один муравьишка не суетится у его ног. Это непреодолимо. Он не может удержаться. То есть совершенно не способен контролировать свои действия. В сущности, смерть тоже является собственной жертвой. Это одна из форм импотенции.

– А вам иногда не надоедает?

Он с недоверием взирает на меня:

– Что именно?

Я некоторое время колебался. Взглянул на ласточку, упавшую к его ногам.

– Заниматься любовью.

Он взъярился. Видимо, он во всем видит намеки.

– Хватит, Хаим. Я очень ценю еврейский юмор, но я побыл с вами в Аушвице, так что вы меня вполне достаточно повеселили. Кстати, хочу вам заметить, что Бетховен был глухой, но это не помешало ему стать величайшим в мире композитором.

Я перевел взгляд на кучу насекомых у его ног:

– Я смотрю, вы не слишком требовательны. Готовы удовлетвориться чем ни попадя.

Он еще больше помрачнел.

– Невозможно все время работать на высоком уровне. Сейчас мы имеем кризис. Рынок насыщен. Никто не желает платить. Заказы редки. Даже во Вьетнаме работают, я бы сказал, пипеткой. А вы знаете, сколько стоит большая историческая фреска? Миллионы. Да за один Сталинград они уплатили мне триста тысяч. Евреи отвалили шесть миллионов. И потом, на это нужно время. Чтобы представить вам «Гернику», мне пришлось вкалывать три года. И что мне это дало? Каких-то полтора миллиона. Не блестящий результат. Хорошенькая эпидемия приносит мне куда больше. И все-таки гражданская война в Испании – одно из моих лучших произведений. Там есть все: Испания, жестокость, Гойя, свет, страсть, самопожертвование. . .

Я чуть не подох от смеха. И то сказать, если бы смерти не существовало, жизнь утратила бы свой комический характер. Флориан был польщен. Он ведь страшно тщеславен. Никто никогда так не нуждается в публице, как он.

– После Гитлера и Сталина наступила инфляция. Жизнь стоит недорого. Я был вынужден повысить цены. За свое последнее большое произведение, войну тридцать девятого-сорок пятого годов, я взял тридцать миллионов, но иногда мне кажется, что я продешевил. Жду со дня на день нового заказа.

Мы посмеялись оба. Да, Флориан – это характер. В «Шварце Шиксе» мы на пару могли бы сделать отличный номер.

– А как дела в Израиле? – вкрадчиво поинтересовался он.

– Спасибо, неплохо, – довольно сухо ответил я.

– А знаете, если они захотят что-нибудь красивое, я им сделаю скидку. Сколько их там?

– Два с половиной миллиона.

– За пятьсот тысяч я напишу им историческую фреску, которой будет восхищаться весь мир. Ну как?

– Вы уже достаточно сделали для евреев.

– Ладно, триста тысяч, только ради вас.

Что-то у меня пропало желание смеяться. У этого типа История и впрямь в крови.

– Эх вы начали запрашивать. Хочу вам напомнить, что для создания самого прекрасного вашего произведения две тысячи лет назад вам хватило всего одного.

– Да, знаю, я, можно сказать, сработал даром. Но тогда я работал чисто из любви к искусству. Однако вспомните, сколько мне это принесло впоследствии. Да на одних религиозных войнах я получил миллионы. Ну хорошо, сто тысяч, и по рукам. Только потому, что это вы, вы получите потрясающее произведение, которое еще долго будет служить примером. Обещаю вам, оно будет достойно Израиля. Нет, правда, я чувствую вдохновение.

– Посмотрите, – сказал я, – вон там муха села на дерьмо. Займитесь-ка ею.

Он пожал плечами.

Я не мог удержаться и время от времени обращал взгляд к горизонту. Все-таки во мне живет ностальгия. Я знаю, что Лили рядом, в кустах, старается из всех сил, но это старая привычка мечтателей из гетто: мы всегда ищем ее на горизонте. Я постарался принять отрешенный вид, и тем не менее Флориан поймал один из этих моих быстрых и отчаянных взглядов. И я увидел на его лице без морщин и всяких признаков возраста еле заметное ироническое выражение.

– Она ушла с клиентом.

Но если он думает, что я ревную, то он здорово ошибается.

– Впрочем, мне казалось, что вам она уже дала все, – добавил он.

Я сорвал маргаритку и промолчал. У меня нет ни малейшего желания обсуждать свои чувства со старым сутенером.

– По натуре она безумно щедра, – сообщил Флориан. – Иногда она отдается, даже не разобравшись как следует, с кем имеет дело. Вот, к примеру, Гитлер. Честно сказать, я бы ни за что не поверил, что он способен на такое. Достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что это импотент. Но ей обязательно нужно попробовать. У меня даже появилось впечатление, что скоро она пропустит через себя семьсот миллионов китайцев.

Я даже согнулся от хохота. Этот Флориан всегда найдет словцо, чтобы рассмешить.

– Рад убедиться, что вы в некотором смысле постигли наше чувство юмора, – сказал я ему. – Раз так, мы все-таки не зря погибли.

И мы опять посмеялись. Нет, право, он идеальный партнер.

– Хотите анекдот? – спросил ободренный Флориан. – Во время погрома жену Хаима на его глазах изнасиловали казаки. Сперва по ней прошлись рядовые, а потом вдруг появился офицер и тоже попользовался ею. И тут Хаим не выдержал и говорит: «Уж вы-то, господин офицер, могли бы сперва попросить позволения!»

Я зашелся от смеха.

– Великолепно! – воскликнул я. – Обожаю наш фольклор.

– А вот еще один. . .

Но я вежливо оборвал его. Все-таки я пришел сюда вовсе не для того, чтобы слушать байки про нашу Историю. Я и без того знаю ее наизусть.

– Вы сказали – Хаим? А какой именно Хаим?

- Да все тот же, сами знаете.
- Это, случайно, не Хаим с улицы Смиглой?
- Нет. Это был Хаим из Назарета.

Я рассмеялся:

- *Мазлов*. Мои поздравления. У вас отличная память.
- *Цу гезунт*.
- Так вы, оказывается, говорите на идише?
- Немножко.
- Берлитц?
- Нет. Треблинка.

И мы опять расхохотались.

– Я вот все пытаюсь понять, что такое, в сущности, еврейский юмор, – задумчиво произнес Флориан. – Что вы на этот счет думаете?

– Это способ кричать.

– И что это дает?

– *Сила крика так велика, что сокрушит жестокости, установленные во зло человеку...*

– А, Кафка, – улыбнулся он. – Как же, знаю, знаю. Вы и вправду в это верите?

Я подмигнул ему, и мы оба засмеялись.

– Эта история про казаков, которую вы рассказали... Вы там помянули Хаима. А не были это Лейба Хаим из Кишинева? Он мой дядя, и это, несомненно, был он, потому что он мне сам рассказывал эту историю. Именно его жену казаки изнасиловали у него на глазах. После этого приключения она родила ребенка, и мой дядя, который тоже был очень злопамятный, жестоко отомстил русским гоям. Он относился к ребенку как к собственному и вырастил из него еврея.

Флориан безмерно возмущен:

– Каков негодяй! Неслыханно! Так обойтись с ребенком!

– Что поделать, мы безжалостный народ. Мы ведь даже распяли Господа нашего Иисуса, мир праху Его.

– Прошу прощения! Вечно вы пытаетесь подгрести все под себя. Ничего не хотите оставить другим. Беспремерная жадность! Папа Иоанн Двадцать третий объявил, что вашей вины в этом нет.

– Нет? Выходит, все эти две тысячи лет впустую?

– Впустую. Именно впустую... Вы только и думаете, как обтяпывать дела!

Мы опять посмеялись. Нет, Флориан настоящий талант. Смерть и ее еврей, какая пара, какая была бы радость для публики из простого народа! Народу нравится бурлеск, он любит посмеяться. Я вот совсем недавно прочел, что шестнадцать процентов французов – антисемиты. Так что публика у нас была бы, тут никакого сомнения. Флориан доволен. Еще немножко, и он кинется отплясывать чечетку. Жаль, что нет какой-нибудь религиозной музыки. Но в конце концов, невозможно иметь все сразу.

И вдруг я вижу посреди леса Гайст руку, высывающуюся из канализационного колодца Варшавского гетто, руку, которую человечество, все без исключения, оставило без оружия. Рука эта медленно сжала пальцы, и еврейский кулак завис, поднятый над жерлом колодца.

Я опять испытываю какое-то непонятное ощущение, напряженность которого обволакивает меня тем плотней, чем меньше ее во мне, а также злобу и негодование, не обходящие меня, напротив, нацеленные на меня, равно как на каждую былинку травы и даже на всю без исключения Джоконду. В нем было что-то от стыда, чувство обиды и вины, что могло бы навести

на мысль о Боге, если бы оный мог бы быть до такой степени лишен совершенства. Право, подобное желание вырваться из человеческого – это даже не слишком учтиво. Я буквально взбесился. За кого он себя принимает, этот хмырь? Чего он хочет? Стать человеком? Подобными средствами этого не добьешься. Тут полное отсутствие сострадания, доброты, жалости, а если творить человека без сострадания, без доброты, без жалости, то опять окажешься в том же жидком дерьме, что прежде. Я позволил себе заметить ему, что творение такового рода уже имело место, отчего и не существует ни мира, ни человека, а только безотчетный, смутный сон неведомо кого, в котором болтается какая-то расплывчатая, неведомо чья цивилизация, а равно солонка, велосипедный насос, шесть пар энциклопедических полуботинок и до блеска начищенный Ларусс. Но в любом случае несомненно одно: сейчас я нахожусь, так сказать, не у себя, и хотя у евреев это постоянная и естественная навязчивая идея, делающая, кстати сказать, им честь, я ощущаю опасность. Я даже не могу понять, я думаю или, если можно так выразиться, я думаем, я страдаю или я страдаем, я вселился или я вселен. Короче, я чувствую, что я одержим. Можете себе представить *диббука* в подобной ситуации?

Даже освещение вокруг меня стало каким-то грубым, резким, можно подумать, что оно хочет все вымести. Нет, я не возьмусь утверждать, что тут имеет место подлинное сознание, такое просто невысказано, если только не принять в качестве предположения постепенную эрозию Бога, овладевшую им слабость со всеми вытекающими из этого последствиями касательно восприимчивости, благожелательности и сострадания.

А еврейский кулак все еще там, но только колодец, откуда он высовывается, возможно, совсем не тот, о каком я думал. Никому ничего не хочу внушать, к душе я испытываю такое же почтение, как к прочей литературе, и не претендую на то, что мое подсознание отличается от других, оно такое, какое есть; более того, убежден: если в него как следует взглядеться, там обнаружишь и Германию, – так что не такое уж оно симпатичное. Скажу только, у этого хмыря на душе лежит Варшавское гетто, не говоря уже про козла, абсолюта, погнутый носик лейки и сумку, полную почты. Широкая у него душа.

Я мысленно задаю себе вопрос, видит ли Флориан этот кулак. Навряд ли. Надо полагать, у себя под носом он видел столько кулаков, что воспринимает их как продолжение носа. Нет, он ничего не заметил.

– Весь мир упрекает вас за то, что вы позволили себя уничтожить, даже не пытаетесь сопротивляться, – говорит он. – Общественное мнение возмущено, тот факт, что вас оказалось так легко убивать, провоцирует новый взлет антисемитизма. Почему вы не защищались? По привычке? Или вы до последнего момента не верили, что немцы способны на это?

– Обещаю, в следующий раз мы поведем себя так, чтобы общественное мнение не стыдилось за нас.

И мы оба заржали. Нет, о таком партнере, как Флориан, можно только мечтать. И я, кстати, подумал, чего ждут организаторы фестивалей в Обераммергау, почему они до сих пор не поставили музыкальную комедию про агонию Варшавского гетто. Германия пока еще не оскудела выдающимися режиссерами.

Нет, я решительно начинаю считать этого хмыря симпатягой. Как говорят на идише, это не любовь, это злоба. И он становится мне тем более симпатичен, что я все больше и больше верю, что это не подсознание христианина. В нем недостает смирения и покорности.

Я начинаю ориентироваться, уже немножко лучше знаю его. Его манера взаимоотношений со смертью выдает тайное притяжение к ней, с которым он пытается бороться. Ну а насчет Лили, я точно знаю, что он о ней думает. Шлюха, нимфоманка, фригидка, паскуда. Вероятней всего, натура у него нежная.

И я решил чуток спровоцировать его.

– В сущности, – объявляю я, – Лили не виновата. Недостаток настоящей любви вовсе не признак современности. Она тут ни при чем. Вина не на ней. Человечество не несет ответа за вину, за первородный грех, виновных нужно искать гораздо выше. . . Лили невиновна.

И тут происходит нечто невообразимое. Лес Гайст запеваёт. Прекрасную, дивную песнь радости и благодарения. Этот хмырь куда глупее, чем я думал. Определенно идеалист.

– Что такое? – удивленно вопрошает Флориан. – Вы слышите?

– Наверно, она испытала наслаждение, – отвечаю я.

И тут же все меняется. Лес Гайст угрюмее. Если этот хмырь меня не знает, то его ждет немало сюрпризов.

– Я явственно слышал небесные хоры, – обеспокоенно произносит Флориан.

– Не думаю, что это то, о чем вы подумали, – заметил я.

– Я ни о чем не подумал, – напыщенно парирует Флориан.

– А я вот уверен, что угадал ваши мысли, – строго промолвил я.

– Ничего такого я не думал, – взвился Флориан. – Это возмутительно. Я не могу себе позволить подобных мыслей. Кошунство для меня запрещено.

– Это отвратительно, – бросаю я. – Вам должно быть стыдно. Можно услышать небесные хоры, но не воображать при этом, будто это означает, что там, наверху, избавились от импотенции и что Господь снизошел к страданиям Лили и. . .

Тут он вообще, фигурально выражаясь, выскочил из штанов. Лицо у него перекопилось. Если хотите узнать, чего боится смерть, так это проявления неуважения к собственному начальству. Да он просто-напросто лакей, этот Флориан.

– Я запрещаю, – завизжал он голосом кастрата, – запрещаю вмешивать Бога в то, что здесь происходит!

– А я и не знал, что вы суеверны, – проговорил я как можно ласковей.

Его буквально парализовало. На лбу выступили крупные капли пота, и от самой мысли, что это воплощение сухости способно выделять росу, мне стало чуть теплей на сердце. Он попытался что-то сказать, но из его глотки выскочили только непережеванные кусочки чесночной колбасы.

И в этот миг произошло нечто куда более поразительное. Миленькие желтые бабочки подлетели к Флориану, стали порхать вокруг его головы и. . . *ничего не произошло*. Бабочки все так же порхали у него под носом.

– Господи! – взвыл Флориан. – Я бессилен.

Я попытался успокоить его:

– Да что вы, пустяки, вы просто разволновались. Вы не привыкли к этому. Постарайтесь сосредоточиться.

Он сосредоточился. Напряженным взглядом вперился в бабочек. Но нет, с ними ничего не случилось, они по-прежнему машут крылышками как ни в чем не бывало.

– Я опозорен! – простонал Флориан.

– Да что вы, нет. Просто небольшая осечка. Такое случается даже с самыми лучшими. Переутомление. Бессонница. Сказались все ночи, что вы провели у изголовья больных. . .

Я уж и впрямь поверил, что Флориан вышел из строя. Из его утробы вырывается неподдельный вопль отчаяния:

– Осечка! У меня ничего не получается!

Я понюхал маргаритку:

– Не перенапрягайтесь. Расслабьтесь.

Он бросил на меня смертоубийственный взгляд:

– Я расслабился!

– Подумайте о чем-нибудь другом. . . Кстати, скажите, а как все это было с Гарсиа Лоркой?

– С кем? А, с Лоркой. . . Ну, если бы нельзя было расстрелять на рассвете поэта, то поэзия давно бы уже перестала существовать! Мне. . . мне нехорошо. . .

– Вы, надеюсь, не собираетесь умирать?

Однако он полностью лишился чувства юмора.

– Очень смешно, – процедил он сквозь зубы.

– Попробуйте еще разок. . . Смотрите, вон там муха. . .

Будь у него силы, он испепелил бы меня взглядом.

– Какого черта вы лезете ко мне с мухой! Что мне с ней делать?

– Не знаю, – тактично ответил я.

Но он уже до такой степени потерял голову, что готов на все.

– Ладно, попробуем с мухой. Где она? Я должен увериться в себе.

То была синяя мушка, она трудолюбиво жужжала над диким маком. Флориан подкрался к ней.

– Красивая, – пробормотал он.

Мушка зажужжала, Флориан кинулся на нее, но она уже отлетела. Пожужжала тут, пожужжала там, приманивая, прямо тебе крохотная динамистка из мира животных. Наконец она опустилась на травинку, и Флориан склонился над ней. Настало мгновение достаточно выразительного молчания. Поэты называют это моментом истины.

– Готова, – буркнул Флориан. – Все-таки я поймел ее. Уф-ф!

И тут мушка взлетела.

Я сочувственно цокнул языком.

– Не повезло, – говорю я.

Флориан рухнул на скалу. Он потрясен до такой степени, что его лицо почти порозовело.

– Этого не может быть, – выдавил он охрипшим голосом. – Я утратил свои способности! У меня ничего не получается! Я не способен. . . Даже муху. . . И это я, который Цезаря и Робеспьера. . .

– Очень многие рекомендуют маточкино молочко. Говорят, помогает, – советую я.

Я думал, он задохнется.

– Ах, так мы еще остроумничаем! Теперь все позволено, да? Только потому, что у меня. . . случайная неудача? А извольте ответить, кому вы обязаны Верденом? И кому Сталинградом? Я, я устраивал войны!

– Способ не хуже любого другого, чтобы убедить себя в собственной мужественности, – заметил я.

Да, теперь я чувствую себя куда как лучше. Редко случается, чтобы *диббук* испытывал симпатию к тому, в кого он вселился, но этот хмырь явно молодец. На сей раз я наткнулся на истинного врага установившегося порядка, природы вещей и природы как таковой.

Не говоря уже о том, что он обладает гигантским *хуцпе*. Надо иметь потрясающую наглость, чтобы даже возмечтать о том, чтобы сделать смерть бессильной. Это поистине покушение на законы природы. Впервые за свою карьеру *диббука* я обитаю внутри настоящего циника. Он ни перед чем не останавливается.

И тем не менее я подумал, может, мне стоит помочь Флориану выбраться из этой неприятности. Ведь если не будет смерти, люди придумают что-нибудь совсем уж отвратительное. Что там ни говори, но Флориан немножко ограничивает их возможности. И еще я подумал о Лили. Нельзя же оставлять ее без Разрешения, без всякой надежды. Вечность, это, конечно, прекрасно, но я не до конца убежден, что тут есть чему радоваться.

– Послушайте, – обратился я к Флориану, – есть тут один извращенный поганец, ниспровергатель, который всех запугивает и пытается избавиться от вас, от меня, от Лили, от целого света. . .

Но он меня не слушал. Он в ужасе. Глаза у него стали круглые и такие глупые, глупей, чем у коровы. Он судорожно ощупывал себя.

– Что такое? В чем дело? – бормотал он. – Я слышу подозрительный стук. . . тут, слева. . . Что-то стучит. . . бьется. . .

– Сердце, – тоже изрядно перепугавшись, объяснил я.

– Что?

– Вам подсунули сердце.

Да, такого я не пожелал бы своим лучшим друзьям.

Дошло до него не сразу.

– Слушайте, старина, – начал я, – кто-то с вами сыграл скверную шутку. Всучил вам сердце. Не хочу вас пугать, но, думаю, все это страшно серьезно. *Вы теперь стали живым.*

Он взвыл, я, можете мне поверить, никогда ничего подобного не слышал, хотя опыт у меня, какого никому не пожелаешь.

– Помогите! – прошептал он голосом умирающего.

Это называется рождение.

– Я могу позвать врача, вы не против?

– Нет, нет, знаю я их. . . Сделать со мной такое! Я не желаю быть живым, я слишком люблю жизнь!

Вдруг он вскочил на ноги:

– Живой! Я – живой! Это ужасно, я не хочу этого видеть! Завяжите мне глаза!

И в тот самый момент, когда я всю радость шутке, которую неизвестный учудил с Флорианом, я вдруг начал понимать, куда он клонит. Я уж было поверил, что обтяпал дельце и что впервые *диббук* нашел клиента, который доволен его услугами и устроит ему за это праздник, вместо того чтобы мчаться к раввину с воплями, что в него вселился демон. То есть я чувствовал себя наилучшим образом и перестал опасаться. Да только этот хмырь оказался хитер, нельзя было ему доверяться. Я-то думал, он нацелился только на Флориана, и всю веселился: как же, он сделал смерть бессильной в своем подсознании, взялся очистить его. Но этот подонок оказался настоящей гнидой, и, не переключись он так стремительно с Флориана на меня, ему бы удалось меня подловить врасплох. Он сунул нас обоих в один мешок, но слишком поторопился опорожнить его. Внезапно у меня возникло чувство, что я исчезаю. Ощущение опустошенности, этакая безучастность, сонливость; даже если бы мне крикнули «Германия», я бы не сумел трижды сплунуть. Все стирается, наступает забвение, все уплывает куда-то далеко-далеко, страница перевернута, не надо больше думать об этом, все кончилось, вот уже пошли работать губкой, я уже исчез, я растворяюсь, меня моют, трут, чистят, пахнет приятно, чистотой, можно наконец забыть. Все мне становится совершенно безразлично, как будто я превращаюсь в человека, короче, все происходит по классическому методу обретения души. Еврейский кулак все еще торчит из колодца, но я уже не вполне уверен, не произведение ли это искусства.

Я уже был на пути к бесследному исчезновению, когда инстинкт самосохранения расстрелянного все-таки взял верх. Во мгновение ока я понял, что происходит. Все та же опасность, что вечно висит над *диббуком*, неважно, сколько их – один или шесть миллионов.

Меня пытаются изгнать.

Мне сочувствовали, были со мной любезны, но я уже намозолил глаза, и к тому же все уже по горло сыты моей *хорой*.

Вот только так легко облегчить свою совесть не удастся.

Я вам скажу одно: новой *диаспоры* не получится. Можете стараться как угодно, но ни я, ни шесть миллионов других *диббуков* никогда не ступят на дорогу изгнания из вашего объевреившегося подсознания.

Я положил руку на свою желтую звезду. Уф-ф! Она еще здесь. И ко мне тут же вернулись силы.

– Что это с вами? – полюбопытствовал Флориан. – Какое-то странное у вас лицо.

Он спокойно сидит напротив меня и чистит ногти острием своего ножа.

Я молчу. Восстанавливаю дыхание. Даже если они соблюдают все традиции, даже если десять евреев, прославленных своим благочестием, окружают меня и станут молиться по всем правилам святой нашей Торы, я все равно откажусь исчезнуть.

Если они действительно желают изгнать меня, то им придется сделать то, чего никто никогда еще не сделал: *сотворить мир*. Я не говорю: сотворить новый мир, я говорю: сотворить мир. Потому что это будет в первый раз.

На меньшее я не согласен.

И потом... Во мне постоянно живет древняя мессианистская мечта. Я думаю о Лили. Нужно помочь ей реализовать себя. Ни один мужчина не имеет права отказаться от этой миссии.

– Скажите...

Флориан поднял голову:

– Да?

– В Варшавском гетто она была?

– Разумеется. Вы и представить себе не можете, где она только не побывала.

– Но она хоть была взволнована?

– Естественно. Лили очень легко взволновать. В этом ее трагедия.

– И... ничего?

– Ничего. Она была взволнована, вот и все. А сейчас, прошу меня извинить... – Он взглянул на часы и достал нож. – Три минуты. Он уже исполнил свое предназначение в жизни.

И Флориан ушел. Кулак по-прежнему на месте. Я всегда жалел, что не пошел в Варшавское гетто вместе с остальными. Я хорошо знал улицу Налевску перед войной. Там всегда было полно типов вроде меня, словно бы сошедших с карикатур: у антисемитов талант к карикатуре. Даже фамилии тех людей вызывали смех: Цигельбаум, Катцнеленбоген, Шванц, Геданке, Гезундхайт, Гутгемахт. Достаточно немножко знать немецкий, чтобы понять, как мастерски нелепо еврейский жаргон окарикатуривал язык Гёте. Мое место было там, с ними. Любопытная вещь: есть евреи, которые умрут с ощущением, что они избежали смерти.

## 28. Опять избранные натуры

Ну вот, я поддался соблазну серьезности, что чудовищно опасно для юмориста, ведь на этом мы уже потеряли Чарли Чаплина, но тут услышал неподалеку оживленный разговор и увидел, как на опушку вышли два изысканных аристократа, барон фон Привиц и граф фон Цан. Вынужден признать, что, несмотря на долгий путь по пересеченной, изобилующей ямами и грязью местности, каковую являет собой лес Гайст, оба сохранили присущую им элегантность и костюмы их были столь же безукоризненны, как во времена Гёте. Так что все-таки не перевелись еще высокородные особы, которые умеют не только одеваться, но и сохранять, невзирая на штормы и приливы, острую как бритва складку на брюках и жестко накрахмаленное собственное достоинство. Костюм «принц Гэлльский» барона, казалось, только что вышел из рук услужливого камердинера, и это является неоспоримым доказательством, что наше дворянство, несмотря на все так называемые трудности, никогда не будет испытывать недостатка в отличных лакеях, мыслителях и эстетях, являющихся высокими мастерами в сфере искусства накрахмаливания пристежных воротничков и чистки обуви до зеркального блеска, а также бдительно заботящихся о том, чтобы ни одна пылинка, ни одна слезинка реальности не посмела запятнать гардероб, следить за сохранностью которого им поручено уже многие столетия. Один небезынтересный французский писатель, проявивший себя в этом жанре при нацистах, лет тридцать назад бросил лозунг, ставший впоследствии руководящим указанием для великого множества наших поставщиков: *«Мы желаем чистые трупы»*. Да, то был крупнейший культурный заказ века.

И все же барон немножечко запыхался. Долгий маршрут утомил его. Да и вообще выглядел он так, словно был совсем на пределе. Его физиономия сохраняла отпечаток безграничного удивления, а в глазах застыло выражение уязвленности и негодования. Граф фон Цан тоже выглядел не лучшим образом: лицо у него было такое, словно по пятам за ним гонятся шесть миллионов мертвецов, а впереди подстерегает не меньшее количество членов «красных бригад». Выглядело оно совершенно изможденным, и только седые усики сохраняли достоинство. Он был похож на Дон Кихота, которого неожиданно поколотил Санчо Панса. Он здорово вспотел и потому извлек из кармана шелковый платок цвета слоновой кости и осторожно промокнул лоб.

– Но, дорогой барон, что можете сделать вы? Они линчуют ее. Они же чувствуют, что она их бесконечно унизила, нанесла им удар в самое уязвимое место... Мы движемся к величайшему преступлению всех времен, совершённого бессилием.

– Ах, дорогой граф, демократия, что это за ужас! Лили оказалась в лапах плебея. Эти люди не способны смотреть на нее глазами духа. Они не умеют любить, как любили мы в течение многих столетий, – чисто духовной любовью. Толпа, подчиняющаяся самым простейшим инстинктам, – возьмите, к примеру, голод, есть ли более животный, более примитивный инстинкт, нежели голод? – способна думать только желудком. Какая изменчивость, какое зверство! Скажите, ну как она может ускользнуть от них? Такой древний, такой благородный род! А какие чудесные замки! Поверьте, дорогой друг, благородным душам остается только научиться умирать!

Он заметил книжки, валяющиеся на развалинах, и бросился к ним:

– Взгляните, дорогой друг, взгляните... Книжки! Это она! Она была здесь... «Великие кладбища в лунном сиянии»... Монтень... Паскаль... «Нет орхидей для мисс Бландиш»...

«Воображаемый музей». . . Шекспир. . . «Условия человеческого существования». . . «Королева яблоч». . . Это она, уверяю вас! «Импотентный мужчина». . . «Фригидная женщина». . . Скорей! Лили где-то неподалеку!

Они устремились к горизонту и исчезли среди подлеска. А я слушаю пение птиц. Любуюсь бабочками. Цветы кажутся куда красивей – как всегда, когда рядом никого нет. Природа обрела надежду, подняла голову, стала дышать. Ну и надеяться тоже. Природа, не знаю, известно ли вам это, живет надеждой. В лоне своем она таит великую надежду. Да, да, она ведь тоже немножко мечтательница и не утрачивает мужества. Она рассчитывает в один прекрасный день добиться. Точней сказать, вернуться. Вернуться в рай, в утраченный Эдем своих первых дней. И в этом смысле очень рассчитывает на человека. Я хочу сказать, на его исчезновение.

## 29. «Шварце Шиксе»

Я вздрогнул. Бабочки исчезли, цветы увяли, птички, прервав песню, упали наземь: возвратился Флориан. Он вел за руку Лили. Ее одежда и прическа пребывали в некотором беспорядке: полиция старалась вовсю. Но я сразу же увидел, что и на этот раз полиция не добилась успеха, в точности как армия, церковь, наука и философия. На ее лице с безупречными чертами мраморной статуи, которое не удалось бы запятнать никакой грязью, да, на этом лице мадонны с фресок и принцессы из легенды были слезы, и пожалуй, слезы – это единственное утешение, которое могли ей дать мужчины.

Флориан сжимает в зубах окурок голландской сигары, кстати погасшей. Не знаю, почему я решил, что сигара голландская. Быть может, потому, что у Флориана на лице выражение как после удачно улаженного дела, какое обычно ассоциируется с порядком и буржуазией.

– Что ж, можно сказать, что наша полиция и впрямь оперативна!

Он остановился, вытащил изо рта сигару и пристально взглянул на Лили. От этой его фетровой шляпы, сбитой на затылок, невероятного бутыльно-зеленого костюма в клетку, жилета, часовой цепочки чуть ли не поперек всего живота и лаковых туфель с кнопками по бокам так и шибает вульгарностью и дурным вкусом, что весьма удивительно, особенно если припомнить, что это он подарил нам Эсхила, Шекспира и Гойю и всегда был главным поставщиком наших музеев.

Флориан вытащил из кармана платок: – Осторожно, милая, у тебя что-то на веке. . . Какая-то грязинка. . . Позволь, я сниму.

Лили закрыла глаза и подняла к нему лицо. Свет омывает ее черты. Окажись тут Леонардо, он схватил бы свою Джоконду и разрезал ее на тысячи кусков. Совершенство этого лица – подлинный апофеоз воображаемого, в нем осуществилось все, что не способна реализовать человеческая рука в самых отчаянных попытках. Меня обдало жаром победы моей неискоренимой любви над законами природы. Трогательней всего она выглядит, когда в очередной раз уходит невредимая с места резни. И мне, чтобы видеть ее во всей ее красоте, остается лишь стоять с закрытыми глазами. Мой драгоценный наставник рабби Цур из Бялостока твердил мне: «Моше, чтобы видеть как следует, недостаточно даже быть слепым. Надо еще уметь *вообразить*. Это редкий талант, Мошеле, который даруется только самым лучшим. Остальные умеют лишь закрывать глаза». Рабби Цур был прав. Если никто не будет мечтать о человечестве, человечество никогда не будет сотворено. Так что я стою, зажмурив глаза, и смотрю всем сердцем. Ее длинное платье, на подоле которого я, как мне показалось, различил сигнатуру Пьеро делла Франческо, несмотря на очевидные следы интимного общения с женщиной, ничуть не утратило своего великолепия. Ведь это только подумать, фараон, полный сил, уверенный в себе и в своих возможностях, так ничего и не смог. Что же до тех, кто подарил ей это платье. . . Такой туалет, должно быть, стоил им кучу денег.

Лили стоит, поднимая лицо. Флориан легким движением коснулся ее века:

– Пылинка. . . Теперь ее больше нет. Дорогая, ничто никогда не должно запятнать твоего совершенства.

– Я всегда так боюсь испачкаться, – промолвила она. – У меня отвращение к пятнам.

Флориан снова сунул сигару в рот, чуть отступил и, заложив большие пальцы за прозели жилета, некоторое время любовался Лили. На лице у него промелькнуло горделивое выражение. Голос его стал еще замогильней, чувствуется, он взволнован.

– Клянусь тебе, смотреть на тебя сплошное удовольствие. Я ведь старый сутенер, но ты действительно красивей всех.

Она улыбнулась и положила ладонь ему на руку:

– Ты милый. И потом, ты хотя бы умеешь любить.

– Спасибо, дорогая. Все потому, что у меня есть то, что необходимо, или, если тебе угодно, потому, что у меня нет того, что есть у них. Они полны. . . полны реальности. Она переполняет их. Они увечны из-за своей. . . гм. . . своей плотскости, да, вот именно. Физиология, органы – это же настоящий недуг.

Лили с секунду колебалась.

– Флориан. . .

– Да, дорогая. Все, что ты захочешь. Тебе достаточно сказать лишь слово, и я всех их прикончу.

– Флориан, а если я тебе признаюсь, что всегда любила только тебя одного? Что в душе я всегда знала: ты единственный, кто может дать мне то, что я ищу. Но ты не любишь меня. Тебе нравится смотреть, как я страдаю.

На сей раз улыбка Флориана расплылась достаточно широко и оставалась на его лице достаточно долго, чтобы я наконец-то постиг глубинную сущность этого стервеца: полнейший и абсолютный цинизм без начала и без конца; то была улыбка вечности, что кружит рядом с человеком.

– Ну еще бы. Цыпочка моя, поставь себя на мое место. Если я возьму тебя всю целиком, что останется мне? Птички да цветочки? Фу! Кончится это тем, что я от тоски наложу на себя руки. . . Пойдем, дорогая, и не надо отчаиваться.

Он поднял руку в таком театральном жесте; ей-ей, в этом паскуднике есть что-то от дурного лицедея. Чувствуется, он насмотрелся мелодрам. И он продекламировал:

– Послушай, как земля тысячами голосов кузнечиков поет песню надежды, что ни одно человеческое приключение не сможет никогда разочаровать. . .

Даже я такого не ожидал. Чистый Сервантес. И к тому же плагиат.

Лили гневно топнула ножкой:

– И что, по-твоему, я должна делать с этими кузнечиками?

Флориан чуточку смущен.

– Дорогая, как-никак ты только что сделала счастливым еще одного мужчину. А это немало.

Лили вроде бы слегка оттаяла. Она любит делать добро.

– Только ты один и понимаешь меня, Флориан. Иногда я спрашиваю себя: а вдруг и вправду величайшая в мире любовь – это когда два существа так и не встречаются?

– Да, пожалуй, это и впрямь прекрасно.

Я тоже немножко растроган. Ведь до сих пор я не отдавал себе отчета, что при жизни пережил великую любовь: я так и не встретил женщину своей мечты.

Я погрузился в размышления о своем былом счастье, как вдруг Лили вскрикнула. Я взглянул и увидел потрясающую вещь: Флориан плакал. И на сей раз не чужими слезами.

– Флориан! Ты плачешь? Плачешь!

– Мерзостная жизнь! – всхлипнул Флориан. – Иногда становится невмоготу.

– Но что случилось?

– Что случилось. . . что случилось. . . Бывают моменты, когда я хотел бы. . . ну да, да!., хотел бы, как они. . . Знаешь, когда понаблюдаешь за ними, в голову в конце концов начинают лезть нелепые мысли.

– Ты хотел бы! Хотел бы, как они?

– Что поделаться, никто не идеален.

– Ох, Флориан... Не надо!

– Я же не говорю, что хотел бы быть человеком. Спасибо, нет. Но они начинают меня нервировать.

– Не надо им завидовать.

– Да я хочу сказать только, что со стороны это выглядит странно-симпатично. Достаточно посмотреть, какие они корчат рожи.

– Но они же такие недолговечные! Человек, и ты, Флориан, это знаешь лучше, чем кто бы то ни было, преходящ. Он такой эфемерный! Они вечно твердят, что строят на тысячу лет, но когда принимаются за дело... Тысяча лет! Смешно...

– Да, знаю, все та же мечта о вечности... Известный клинический симптом. Все они импотенты.

Настроение у него полностью исправилось.

– Они твердят о восторгах, о райских наслаждениях, о небывалом блаженстве, а потом захрапят и перевернутся на спину.

– Они это называют «жить». По сути, дорогая, это их крохотный барыш.

Наперекор себе я подхожу к Лили. В нынешнем моем положении я должен бы сохранять спокойствие, какие уж тут сомнения, но нет, это сильней меня. Меня просто неодолимо тянет к ней. У нас, мечтателей из гетто, это врожденное. Всем известна наша любовь к абстракциям. Флориан насмешливо смотрит на меня:

– Я должен был догадаться. Чуть только заговорят о барыше...

Я рассмеялся.

– А что ж вы думали? – бросаю я. – По-настоящему, им надо было бы построить на развалинах Аушвица биржу или банк. Вот тут-то мы все бы и воскресли.

### 30. «Шварце Шиксе» (продолжение)

Я подошел еще ближе. Лили не обратила на меня никакого внимания. Даже не улыбнулась. И все-таки мне кажется, я только что выдал довольно смешную шутку. В лучших традициях юмора «Шварце Шиксе», бесспорно самого лучшего еврейского кабаре, которое прославилось на весь мир после нашего первого и единственного успеха, веселенькой программы «Всеобъемлющая любовь», самой, без всяких сомнений, известной из всего еврейского репертуара; между прочим, Чарли Чаплин использовал из нее кое-какие мотивы.

Флориан, похоже, пребывает в веселом настроении. Он шутливо грозит мне пальцем:

– Господин Хаим, вы начинаете нас раздражать этими вашими язвами и ранами. Ну чего вы хотите? Чтобы уложили сто миллионов китайцев с единственной целью доказать вам, что мы не антисемиты?

Это смешно, но Лили нас не слушает. Она взяла книжку французского автора «Великие кладбища в лунном сиянье» и рассеянно ее перелистывает.

– Шуточки и всякое там остроумие ее не интересует, – пояснил мне Флориан. – У нее в мыслях только высокое.

Я вежливо улыбнулся, но счел это все-таки дерзостью. Флориану не следовало бы пускаться в рискованный треп в присутствии столь высокогородной особы.

– И тем не менее, – продолжил Флориан, – иногда невредно немножко посмеяться, чтобы как-то провести время. Вечности требуются дивертисменты, публика, фарсы, розыгрыши. . . Именно так и был сотворен человек.

Но я не слушаю его. Я все ближе придвигаюсь к ней. Робко. Смиренно. Мне очень хочется, чтобы она обратила на меня внимание, и в то же время я испытываю какой-то сладостный страх. Мне не хватает только тросточки, котелка, усиков щеточкой и огромных башмаков, чтобы превратиться в своего персонажа.

Флориан заметил мои маневры, выражение лица у него насмешливое и одновременно откровенно циничное.

– Давайте, давайте, Хаим, поздоровайтесь с ней, а то я смотрю, вы все время строите ей глазки.

Только чего ради? Она ведь даже не узнает меня. У нее короткая память.

Лили надула губки. Она отложила книжку и нахмурилась. Лес Гайст выбивается из сил, дабы представить себя небывало прекрасным, но она не замечает его усилий. Перед ней воздвигаются большие полотна Дюрера, итальянские примитивы вылизывают пейзаж, перед ее глазами проходит «Погребение графа Оргаса», Рафаэль окружает ее шелестом крыл своих херувимов, но все впустую, она мечтает о реальности и не обращает внимания на все эти ухищрения. Мелкая монета абсолюта ее не интересует.

– Лили, посмотри-ка, кто к нам пришел. Не узнаешь? Чингиз-Хаим, твой стариннейший клиент. Верный и нежный влюбленный, всегда готов к услугам. Поздоровайся с ним.

– Здравствуйте, – бросает она с полнейшим равнодушием.

У меня возникло ощущение, что я еще немножко умер.

– Ну, Лили, как можно! Неужели ты не узнаешь старого друга Хаима? После всего, что ты для него сделала?

– Мне было очень приятно, – галантно говорю я.

Она несколько оживилась. В ее взгляде появилась та напряженность, та прозорливость, та манера смотреть и видеть внутри вас что-то нетипичное, непохожее на прочих, что присуща иным женщинам, потрясенным тем, что они нашли невозможное.

– Как он красив! Какой лоб! Обрати внимание на его лоб, Флориан. . .

На сей раз даже Флориан покороблен:

– Нет, нет, ты уже с ним покончила! Не можешь же ты еще раз перевести его в то состояние, в каком он уже пребывает. Ну, Лили, прекрати!

– Нет, Флориан, ты посмотри на его глаза. . .

Я быстренько обернулся взглянуть, не пристроился ли за мной в очередь еще один воздыхатель, однако нет, это меня она вторично возжелала. *Мазлтов.*

– Прекрати, ради Бога! Тебе не стыдно? *Я же сказал, ты уже покончила с ним!*

– Ах, так?

– Да, да!

– И что это дало?

– То есть как, что это дало? Ничего. Послушай, я возмущен. Право же, я никогда не думал, что способен на это. . . Лили, ты могла хотя бы запомнить. . . Не так уж это трудно.

– Хаим, – не без робости представился я. – Чингиз-Хаим. Всегда счастлив служить.

– Не знаю такого.

– Лили!

Она опять надула губки. Нет, право, в ней так много от девочки. . .

– Неужели ты хочешь, чтобы я всех помнила?

– Но это же элементарная вежливость!

– Ей-богу, Флориан. . . Ты разговариваешь со мной как с какой-то нимфоманкой. . . Если я их не помню, то только потому, что они не произвели на меня никакого впечатления. . . Они ничего для меня не сделали, мизинцем даже не шевельнули. . .

– Лили! Прошу тебя!

– Они вечно отделялись шуточками.

– Ну уж нет, не все. Вот перед тобой тот, кто все тебе отдал! И еще один. . . погоди-ка. . . Как же его звали-то?.. Он еще так тебя любил. . . Ну вспомни, ты же мигом справились с ним. . . Звезда, мировая знаменитость. . . Ты уже было поверила, что нашла себе пару. . .

– Камю? Да, помню очень хорошо. Я читала его книги. Но ведь не книгами едиными. . .

– Прекрати! Кстати, это был вовсе не он. . . Погоди-ка. . . Имя из пяти букв. . . И начинается на И. . .

Я попытался помочь:

– Иоанн?

– Да нет, какой, к черту, Иоанн! Вовсе не Иоанн. . . Господи, да я же прекрасно помнил его. . .

– Иаков? Тот, что с улицы Погромской?

– Да нет же. . . А, вот оно! Иисус, Иисус из Назарета. Это имя тебе что-нибудь говорит?

– Разумеется. Я о нем что-то читала. . .

– Читала? Читала! Да это же было самое крупное, самое лучшее твое дело!

Тут уже я взорвался:

– Хватит! Вы вечно обвиняете нас, евреев, что мы только и пытаемся обдѣлывать дела. Ну скажите, скажите мне, какие дела Он проворачивал? Таких дел я не пожелал бы своим лучшим друзьям.

## 31. У нее вкус к шедеврам

Впервые с тех пор, как мы познакомились здесь в лесу Гайст, я увидел Флориана по-настоящему раздраженным, возмущенным. И я его понимаю. Он страшно гордится своим «Распятием» и великолепным искусством, возникшим в результате этого. И то сказать, он просто не может не чувствовать себя причастным ко всем чудесам Ренессанса. А вот у Лили вид по-прежнему безучастный и немножечко строптивый. Ну, не помнит она, не помнит, что с нее взять.

– Лили, послушай! Ну, постарайся вспомнить, ведь тем самым ты стала творцом Истории. Да и сама кое-что с этого поимела: соборы, цивилизацию, дивные песнопения. . . Сокрушения, слезы. . . Умерщвление плоти. . .

Тут уж и я вмешался:

– А свечи! Представьте только, как вам пришлось потратиться на одни свечи!

Ей это надоело. Она топнула ножкой:

– Отстань ты наконец от меня! Ты не можешь требовать, чтобы женщина помнила всех мужчин, которых она в своей жизни любила!

Флориан побледнел от ярости. Поразительно все-таки видеть, как он обретает свой естественный цвет. Голос его стал совсем глухим, и тотчас стала явной вся тайная, глубинная похабность этого закоренелого сутенера.

– Ну, сука! Чувствую, она меня доведет. . .

– Может, мне лучше уйти? – тактично осведомился я.

– Конечно, как только запахнет жареным, вы сразу же рвете когти.

– Да нет, это скорей из деликатности. Семейные сцены, сами понимаете. . .

– Разумеется. Гуманисты, они вечно закрывают глаза в нужный момент – как только она покажет себя в истинном свете. А потом талдычат: это не она, это нацисты! Это не она, это Сталин! Для них она никогда ни в чем не виновата. Нет уж, Хаим, вы останетесь и будете держать свечку. Уж коль вы любитель подсматривать, извольте взглянуть правде в глаза.

– Хорошо, хорошо, как вам угодно. В любом случае я в определенном смысле заранее заплатил за свое место.

Флориан до того взбешен, до того разъярен, что от него исходит ледяной холод, обдавший меня ознобом. Я даже немножечко стухнул. Разумеется, в фигуральном смысле. Как-никак я всего лишь большая абстракция.

– Лили, можно быть слегка рассеянной, немножко ветреной, можно витать в облаках, но когда свершается распятие, чтобы на плечах распятого построить двухтысячелетнюю цивилизацию любви и художественных сокровищ, такое событие, черт бы тебя побрал, следует запоминать. Ты вечно твердишь о своем разочаровании, обвиняешь их всех – и тут ты права, стократ права! – в холодности, в мелочности, но когда появляется тот, у кого поистине безграничное сердце и кто дарит тебе Страсти, подлинные, которые служат примером другим, тот, кто вызвал восхищение всего мира и обрел бездну последователей, ты не можешь его вспомнить!

Она задумалась, и вдруг ее лицо прояснилось.

– Ой, да, теперь вспомнила! Да, мне это очень понравилось. Это было безумно красиво. И стало еще прекрасней, когда Микеланджело чуть-чуть подправил. Да, он был очень милый.

– Милый? – взревел Флориан.

– Да, приятный. А какой лоб! Какой лоб! В нем поистине было что-то от...

– Хватит! Не смей! Я решительно запрещаю тебе...

– У него были безумно красивые глаза. Правда, они стали еще прекрасней, оттененные страданием...

На миг я уже было поверил, что Флориан сейчас придушит ее. Дыхание у него вырывалось с каким-то свистом. В глазах цвета болотной грязи вдруг промелькнуло выражение оскорбленного достоинства. Я понял, что Лакей опасается гнева Господина.

– Молчать! Цензура! Инквизиция! Полиция и полный запрет!

Взор Лили излучает ласковую мечтательность.

– Мне нравятся выразительные лица, – произносит она чуть грудным, исполненным застенчивой чувственности голосом маленькой девочки. – Страдание придает выразительность, что-то такое, даже не знаю, как определить... Он был безмерно прекрасен на кресте. Ради этого стоило постараться...

– Все! Я не знаю, что я сейчас сделаю! – заорал Флориан.

– Уже все сделано, – успокоил я его. – И кстати, кто оставил Его висеть на кресте два дня с мыслью о шедевре? Вы.

– Неправда! Я обязан был позволить природе идти своим ходом.

– Такого хода я не пожелал бы своим лучшим друзьям.

Теперь Лили смотрит на него с некоторым даже презрением.

– Ты, Флориан, все-таки не очень образованный. Если бы Он не страдал, представляешь, какая это была бы потеря для человечества? Ты ничего не смыслишь в эстетике.

– Лили!

Я ринулся ей на помощь:

– Послушайте, иметь художественные склонности никому не запрещается. Она права. Если бы две тысячи лет назад вы оба не совершили этого безобразия, культура понесла бы чудовищный урон. Представляете, ни единой иконы! Никакого вам византийского искусства, никакого Ренессанса, ничего. Ни вам доброты, ни братства, ни всеобщей любви. Жуть берет при мысли, что было бы, если бы она меня не распяла. Варварство!

Похоже, Флориан ошарашен.

– Хаим, хватит шутить! За кого вы себя принимаете?

Лили с искренним и обезоруживающим удивлением встряхнула сияющими волосами – казалось, все искусство Флоренции, Венеции и Челлини в придачу работали над ее прической.

– Как же я могла его забыть? Проходя мимо, я там остановилась и даже вернулась назад, чтобы отдать кое-какие распоряжения.

– Это было крайне любезно, – заметил я. – Уверю вас, она ничего не упустила. Каждый гвоздь был забит на свое место с любовной заботой к деталям, каждая рана уже предвещала Джотто и Чимабуэ. Крови вытекло немного, это наводит на мысль о маленьких, почти незаметных родниках, которые оказываются истоками могучих рек. Каждая кость была вывернута, и в этом уже было предчувствие гения готики. Возможно, казни несколько недоставало размаха, чувствовалось, что через некоторое время потребуется расширить масштабы действия, придать ему эпический размах... Пришлось двадцать столетий подождать, но это все-таки произошло.

У меня было впечатление, что Флориан начинает что-то подозревать. Он смотрел на меня очень и очень внимательно. Но если он надеется, что я буду разгуливать у них на глазах в терновом венце на голове и со всеми ранами от гвоздей, то он явно рехнулся. Если бы они увидели меня в таком виде, то тут же водрузили бы на приличествующее мне орудие казни.

Флориан пребывал в некоторой нерешительности. Он облизнул пересохшие губы. Да, есть все основания беспокоиться. Во-первых, он не получил никаких распоряжений. Во-вторых, не способен допустить, что я, если это только действительно я, до сих пор влюблен в Лили. Он четко знает, что на моем месте он бы жестоко ненавидел ее. И не только за то, что она проделала со мной две тысячи лет назад, сколько за то, что она продолжала делать после.

Он повернулся к Лили. У нее на губах играет обольстительная улыбка. Она все вспомнила, тут уж нет никаких сомнений. Флориан снова глянул на меня. Я постарался принять таинственный вид.

Флориан обеспокоен до такой степени, что, когда раздался голос Лили, он вздрогнул.

– Флориан, я была безумно взволнована. Нет, правда. Ну, почти. Впервые я что-то почувствовала. И тем не менее чего-то не хватало. . .

– Что? – нервно отозвался Флориан. – Чего тебе не хватало?

– Не знаю. Какой-то малости.

Она прищелкнула пальцами. Ну вот, вспомнила.

– А, теперь знаю. *Слишком все это было недолго.* Очень скоро закончилось. Они проделали все это слишком быстро, слишком стремительно.

Из побелевшего носа Флориана вырывалось возмущенное сопение. Он до того разъярен, что прохладный сквознячок, исходящий от него, превратился в леденящий ветер.

– Лили, я действительно рассержусь. . .

Я попытался успокоить его:

– Не стоит. В чем-то она права. Я оставался на кресте лишь два дня. Всего ничего.

– Он был так прекрасен!

Она на секунду задумалась. На губах ее появилась хитроватая улыбка.

– Флориан.

– Ну что еще?

Капризным, но в то же время требовательным тоном она произносит:

– Я снова *хочу*.

Мне показалось, что в глазах Флориана мелькнул ужас.

– Флориан, то Распятие было просто великолепно. Я хочу еще одно такое же.

– Ч-ч-что?

– *Я хочу еще одно такое же.*

Флориан от удивления разинул рот, и это оказалась такая огромная пасть, что, право, я даже подумал, будто передо мной сам Александр Македонский.

– Лили, это невозможно! Я. . . я тебя не слышал. Годы мои такие, что я стал глуховат.

– Это все матери, которые своим воплями повредили вам слух, – успокоил я его. – Шум, знаете ли, очень вреден.

– Лили, и тебе не стыдно?

Губки у нее задрожали. Я почувствовал, что она сейчас расплачется. Но я знал, что мне остается сделать.

## 32. «Прекрасный Голубой Дунай»

Вообразите себе золотую легенду, прекраснейший в мире гобелен, плачущую принцессу в божественном освещении, и вы поймете, что чувствовал я, Хаим с улицы Налевской, личность непонятная и неопределенная, нелепая и презренная, которому вдруг представилась неожиданная возможность.

– Хочу еще такое же! На холме среди оливковых деревьев... Чтобы это было так же красиво...

Я сделал шаг вперед:

– Я был бы счастлив, если только я вам подхожу.

Флориан вознегодовал:

– Мазохист! Извращенец! Хаим, валите отсюда, она вас уже достаточно поимела!

Лили внимательно смотрит на меня. Я восхищен. Чувствую: цивилизация обогатится новым достижением.

– К вашим услугам.

Флориан бросает на меня взгляд, полный безмерного отвращения.

– Это же надо! Он на седьмом небе!

– Кажется, я с вами уже имела дело, – промолвила Лили.

– Еще бы! – прошипел сквозь зубы Флориан. – Это принесло шесть миллионов, не считая мыла.

Лили раскрыла мне объятья:

– Но все равно я хочу танцевать с вами. Я обожаю вальс.

Флориан попытался встать между нами:

– Ты уже с ним досыта навальсировалась!

Она подошла ближе:

– Да, но я хочу научить его новым па...

– Да они все те же! – заорал Флориан. – Хаим, сматывайтесь отсюда, пока еще не поздно!

Надо быть последним мазохистом, чтобы пытаться удовлетворить ее!

А она вся словно бы устремилась ко мне. Можно говорить все, что угодно, но распознать клиента она умеет.

– Позвольте пригласить вас, господин... простите, как?

– Хаим. Чингиз-Хаим, вычеркнутый еврейский комик, к вашим услугам.

– Позвольте, господин Хаим. Это будет наш самый прекрасный, наш последний вальс!

Можете мне верить, можете нет, но принцесса из легенды обняла меня, и в тот же миг в яме, я хочу сказать, в оркестровой яме, заиграли скрипки, и я встал на цыпочки, я приготовился вальсировать...

– «Прекрасный Голубой Дунай», дерьмо собачье! – выкрикнул Флориан. – Да неужто вы позволите еще раз поиметь себя под самый затасканный в мире мотивчик?

– Ближе, еще ближе, – шепчет Лили. – Прижмите меня крепче... Вот так...

Я ощущал непонятную радость, восхитительное опьянение. И вдруг пошатнулся. Голова закружилась.

– Из... извините...

Я отпустил ее, схватился руками за горло: я испытывал удушье...

– Кретин! – рывкнул Флориан. – Недоделок! Гуманист сраный!

– Ничего страшного, – успокоила Лили. – Это «Голубой Дунай», он ударил вам в голову. . .

Ну уж нет, какой там «Голубой Дунай», это ее духи. Я узнал их.

– Газ. . . – пробормотал я. – Извините» но от вас пахнет газом!

– Идиот! – бросил мне Флориан. – Я же предупреждал вас! Новые па, как же! Да все те же, ничуть не изменились!

Теперь я танцевал один. И уже не вальс. Это старинный наш танец. Лили аплодирует мне:

– До чего красиво! Как это называется?

– *Хора*. . . еврейская *хора*, – объясняет Флориан. – Это у них чисто естественное, как у кошки на раскаленной плите. . . Народный танец. Их ему обучили казаки.

Лили хлопает, отбивая ритм:

– Bravo! Bravo!

Не знаю, что со мной приключилось, но я не могу остановиться. Глаза у меня повылезали из орбит, скрипки наявивают в каком-то безумном, адском темпе, я вижу, что меня окружают нацисты в коричневых рубашках, и все они отбивают ладонями ритм, кроме одного, который со смехом таскает за бороду еврея-хасида, а тот поощряюще хихикает, причем оба они стоят, обернувшись к грядущим поколениям.

– По. . . помогите! Я не могу остановиться!

Вдруг мне показалось, будто меня схватила чья-то могучая рука, встряхнула, и у меня возникло ощущение, что здесь оказался весь Израиль вплоть до последнего *сабра* и вся страна могучим пинком в зад вышибла меня в прошлое.

– Bravo! Отлично сделано! – бросил мне Флориан. – Валите-ка отсюда вместе с вашими народными танцами! Все уже сыты по горло еврейским фольклором!

### 33. Немецкое чудо

Я оказался в кустах, голова все еще кружилась, земля уходила из-под ног, я ухватился за что-то, и ко мне наконец вернулось зрение: я обнаружил, что обеими руками вцепился в ногу Шатца.

– Отцепитесь от меня! – кричит он. – Вы что, не видите, что я и без того завален?

Да, действительно, я обнаружил, что у него сложности. Он оказался внутри кучи, точную природу которой я установил не сразу, но, однако, распознал козла, трех теток, тещу, которая одна стоит десяти, Большой Ларусс в двенадцати томах, а сам Шатц в это время, ругаясь на чем свет стоит, пытается оттолкнуть почтальонскую сумку, набитую свежей почтой. Я бы с удовольствием помог ему, но сам оказался тоже завален; на правом глазу у меня лежит солонка, в бок врезался велосипедный насос, к тому же я обнаружил, что держу в объятиях Джоконду и при этом окружен самыми разнообразными предметами религиозного культа, среди которых я точно определил опять же козла, тещу, которая одна стоит десяти, трех Будд, двух Сталиных, шесть пар до блеска начищенных Мао Цзедунов, тонну святых с торчащими во все стороны нимбами, иллюстрированную «Кама Сутру» с Марксом и Фрейдом в постели на обложке, одного кюренка, десять килограммов кхмерского искусства, одного Де Голля, две пары брюк дзен, восемнадцать эдиповых комплексов в отличном состоянии, «Марсельезу» Рюда, десять товарных вагонов, битком набитых демократией, три красных опасности, одну с иголки желтую, абажур из человеческой кожи античной эпохи, продающийся на пару с Вермеером, полную скорби задницу Иеронимуса Босха, комплект распятий производства церковного комбината Сен-Сюльпис, двадцать пар сапог, набитых еврейскими страданиями, набор сердец, которые кровоточат, когда в них бросаешь монетку, тринадцать цивилизаций, еще вполне пригодных к употреблению, одну полностью исковерканную «Свободу или смерть», поцелуй прокаженному, дарованный до того, как прокаженный заболел проказой, пять десятков гуманистических опер, одну лебединую песнь, одну крокодилову слезу, десять миллиардов стереотипов, велосипедиста, который нигде не финишировал, и лапсердак моего возлюбленного учителя рабби Цура из Бялостока, все так же подбитый экуменизмом. М-да, у этого хмыря поистине не подсознание, а самая настоящая свалка.

Мы пытались выбраться. Но земля оседала под ногами, грунт там мягкий, податливый, раскисший, так что на нем вполне можно было еще строить на тысячу лет.

Шатц впал в полнейшее уныние.

– Что за свинство! – возопил он. – Я же говорил вам, мы попали в лапы сексуального маньяка!

Я внимательней взглянул на Шатца. Действительно. Я рассмеялся.

– Чего вы на меня выпялились?

– Я никогда не обращал внимания, что у вас такая физиономия.

Шатц прямо-таки взбесился:

– Может, вы кончите меня оскорблять? Или вы не понимаете, что этот тип издевается над нами?

А я хохотал и все не мог остановиться. Мысль, что пресловутое мужское начало расы господ наконец-то полностью и всецело воплотилось в личности Шатца, наполняла меня надеждой. Я и не думал, что немецкое чудо могло принять такие размеры.

– Вы должны попробовать еще разок, – сказал я. – И тогда, быть может, удовлетворите ее. У вас именно такая рожа, как нужно. Попробуйте, mein Führer! В сущности говоря, в первый раз вы слишком быстро отступились.

– Хаим, вы не отдаете себе отчета! Этот тип пытается уничтожить нас!

Я задумался. Попытался представить, что посоветовал бы мне рабби Цур, будь он сейчас внутри своего лапсердака. Всегда утверждалось, что в евреях есть нечто разрушительное, что даже их юмор – это своего рода агрессивность безоружных. Вполне возможно. Мы – народ мечтателей, а это значит, что мы никогда не переставали ждать сотворения мира. И тут мне на ум пришли несколько, прямо скажем, талмудических соображений. Первое: возможно, этот хмырь – Мессия – наконец-то пришел освободить людей от подсознания и повести их к свету. Второе: возможно, мы увязли в подсознании Господа, который пытается избавиться от нас, чтобы обрести наконец покой. Третье: кто-то действительно сейчас занят сотворением мира, а начал он с самого начала, то есть выметает всю эту свалку, которую мы успели навалить. Четвертое: этот хмырь просто-напросто скотина.

Пока я пытался разобраться в ситуации, с опушки до меня долетели голоса, и я сразу подумал, не случилось ли какой беды с Лили, потому что если сейчас происходит акт подлинного Творения, то совершенно ясно: человечеству следует опасаться всего, чего угодно. Я раздвинул кусты и стал наблюдать за происходящим. Флориан и Лили ругались. Ага! Вполне вероятно, это может быть началом конца. Если Флориан потеряет голову, то в порыве ярости он вполне способен прикончить ее. Предчувствую какую-то тонкую и изощренную военную хитрость Бога. Только сперва придется съесть меня с кашей. Пока я здесь, я буду защищать ее. Да, она такая, какая есть, вот только я не позволю разделить меня с той, кого я с такой любовью вообразил себе. Ничего не поделаешь. Пусть они творят мир, ничего не имею против, но только с ней, для нее. В конце концов, она требует такой малости! Она всего-навсего хочет стать наконец-то счастливой.

Флориан орет, как базарная торговка:

– Ну остановись ты, остановись! Попробуй хотя бы для разнообразия американцев! Они еще такие свеженькие. Ну надоели жида, в конце концов! Нет, тебе подавай привычное!

Я потрясен подобной грубостью. Лили тоже вопит во все горло и походит скорей на фурию, чем на принцессу из легенды. Лицо ее исказилось от злобы. Любопытная вещь: ее белокурые волосы стали черными. Вне всяких сомнений, это психосоматическое, но тем не менее я смущен. А в чертах ее лица явственно проявился греческий тип, нет, хуже – цыганский, да что я говорю, еще хуже: она здорово смахивает на мою двоюродную сестрицу Сару.

– Ты ревнуешь! Да ты же картавый ворон, уже разучившийся летать!

– А ты... ты – грязная лужа, в которую спускают все, кому не лень!

– Могильный червяк, халдей, чья душа живет чаевыми!

– Драная подстилка, по которой прошелся весь исторический процесс!

– Да они же ссорятся! – услышал я рядом шепот крайне проницательного Шатцхена.

Лили бросилась на Флориана в таком порыве злобы, что мне на память сразу пришли все самые прекрасные образы нашего культурного наследия: пантера, готовящаяся к прыжку, разъяренная фурия, «Марсельеза» Рюда, похищение сабинянок, Шарлотта Корде, вечная женственность и то самое наивысшее воплощение литературы с очами, мечущими молнии.

– Я плюну тебе сейчас в рожу!

– Мне это будет в сто раз приятней твоих поцелуев, – парирует Флориан.

– Он явно нарывается, – отметил Шатц.

Однако он заблуждался. То была всего лишь легкая ссора влюбленных, и идеальная, самая дружная на свете пара пока не собиралась расставаться. Какое-то мгновение они стояли

молча, а потом устремились друг к другу в таком порыве нежности, с таким пылом и волнением, что меня забила дрожь; мир поджидает еще немало хороших кровопусканий, это я вам гарантирую.

– О мой Флориан, как же мы могли!

– Прости меня, любимая. Мы оба страдаем от переутомления. Отдохни немножко. Присядь, умоляю тебя, на этот камень. Переведи дыхание.

– Флориан, может, я и вправду какая-то не такая, что-то во мне не так? Может, мои хулителю правы? Может, я и правда немножко фригидна?

С бесконечной заботливостью он обнимает ее за плечи:

– Ты, любимая, фригидна? Кто мог внушить тебе такую мысль?

– Я прочла одну книжку. Кажется, есть женщины, которым никогда не удается испытать оргазма.

– Дорогая, это только потому, что остальные женщины довольствуются слишком малым. Я имею в виду, разумеется, тех, которые всегда получают удовлетворение. Не отчаивайся, дорогая. Продолжай искать. Ты не можешь прервать свой духовный поиск.

– Я так боюсь, что меня принимают за нимфоманку!

– Что за дурацкое слово, дорогая! Я не желаю больше слышать его из твоих уст!

– Ты даже не представляешь, чего они требуют, чтобы расшевелиться!

– Так бывает всегда, когда отсутствует подлинное вдохновение. Фокусы. Техника. Системы. Идеологии. Методы. Им совершенно неведома любовь. Импотенты всегда ограничиваются пороком, дорогая.

– Да, верно. Я иногда даже спрашиваю себя, может, то, что они требуют, все-таки немножко противно, грязно. Помню, однажды во Вьетнаме они. . .

– Заметь, это проблема чувства. Когда это делают без страсти, без любви, когда в этом не участвует сердце, да, тогда это противно. Но когда это делают из идеальных побуждений, когда тебя по-настоящему любят, тогда, дорогая, ничто не противно и можно делать все.

– Ты так внимателен ко мне, Флориан. Так все понимаешь.

– Просто я стал немножко психологом. Не надо пугаться или выражать удивление, когда они требуют от тебя определенных. . . ласк. Нужно помочь проявиться их мужественности.

– Ты меня успокоил. А то у меня иногда впечатление, что они проделывают со мной какие-то гнусности.

– Это, дорогая, оттого, что ты вся в мыслях о шедеврах. Это делает тебя немножко. . . трудной в общении, немножко чересчур требовательной.

– Но заметь, я ведь делаю все, что они просят. Буквально все. Конечно же, мне не хватает опыта. . .

– *Хи-хи-хи!*

Она услышала меня. Но я не мог сдержаться. Это было сильнее меня.

– Флориан, я слышала смех.

– Пустяки, дорогая, это парень, которого ты уже ублаготворила, Хаим, Чингиз-Хаим. Не обращай внимания. Он провокатор.

– Разумеется, опыта мне не хватает, я иногда даже упрекаю себя, чувствую, что я такая неловкая. Один из них мне как-то сказал, правда, я не очень поняла, потому что это, наверно, жаргонное слово. . . Так вот, он сказал мне, что во мне мало блядского. . .

– Гм. . . гм. . . На жаргоне, любимая, это означает слишком стыдливая.

– Это был полицейский, но я все равно очень-очень люблю полицию.

– И полиция тоже очень любит тебя. Дорогая, тебя любят все. И все стараются сделать тебя счастливой. С тобой это немножко трудней, чем с остальными женщинами, потому что

они удовлетворяются весьма и весьма малым. Но у тебя поистине великая душа. А чем душа величественней и прекрасней, тем трудней ей удовлетвориться. Стремление к абсолюту, дорогая, это трудно, это страшно трудно... Я имею в виду подлинный абсолют. А не те мелкие монеты, которые они все пытаются тебе всучить...

### 34. Маленький абсолют

Я был бесконечно заворожен Лили и даже не заметил, что происходит за спиной парочки, на другом конце опушки, где деревья леса Гайст сходились тесней. Как раз когда Флориан произнес фразу насчет мелких монет абсолюта, которую я счел несколько рискованной, Шатц дернул меня за руку, и я обнаружил типичного бюргера из города Лихт в сопровождении прыщавого студентика с книгами под мышкой. Молодой человек, похоже, пребывал в транс: с каким-то странным выражением лица он шел, воздев глаза к вершинам деревьев.

– Ой, папа. . .

– Опустит глаза! Я запрещаю тебе смотреть на это! Дыши свежим воздухом, раз врач говорит, что это тебя успокоит, но не смей поднимать взгляд! Ты еще слишком молод, чтобы глазеть на подобные вещи. Сперва получи образование. А потом сможешь жениться на чистой, невинной девушке.

Юнец вдруг остановился и уперся взглядом куда-то в пространство с улыбкой, которую в свете моего опыта я могу охарактеризовать лишь как исключительно похабную. Папаша был возмущен:

– Мерзавец!

– Но я не могу удержаться, одна там подает мне знаки. . . Вон, вон она! Посмотри туда! Какая она большая, какая прекрасная! Ой, она приоткрывается! Она улыбается мне!

– Что? Она тебе улыбается? Дурак, эти органы не улыбаются. Где? Да показывай точнее! Где, где? Ничего не вижу. Несчастный, у тебя просто кризис полового созревания.

– Ай! Ай! Да они всюду, на каждой ветке, и волосы разного цвета – блондинистые, брюнетистые, рыженькие. . . Ой, а одна совсем золотистая и курчавенькая. . . А эта. . . эта. . . посмотри, папа, туда. . . Видишь? Она вся широко раскрылась и глазиком подмигивает мне. . .

Я стал вертеть головой, пытаюсь увидеть, что там такое, и отметил, что Шатц тоже вытянул шею. Вне сомнений, то был вовсе не идеал, подлинный, большой, единственный, но, в конце концов, и маленьким абсолютом тоже не следует пренебрегать. Приобщиться к нему очень и очень приятно. Приносит большое облегчение.

– Во-первых, это она мне подмигнула, а потом. . . Нету у нее никакого глаза. Ты даже еще не представляешь себе, что это такое, а говоришь! Это оптический обман! Ты просто заклинился. Слишком усиленно штудировал метафизику.

– А реснички какие красивые вокруг! Длинные, шелковистые и так все время трепещут, трепещут. . . Папа, да посмотри же ты, посмотри! Ой, как их много!

– Безобразие! Это совращение!

– Ой. . . Они там щебечут, поют, а одна немножко шепелявая. . .

– Какая шепелявая?

– А как они непоседливы, порхают, перелетают с ветки на ветку, и все время шелест. . . Мне так нравится рыженькая! Наверно, она такая сладостная. . .

– Немедленно опусти глаза! Не смотри на небо! И тебе не стыдно? Если бы твоя бедная мамочка видела тебя! Ты говоришь, рыженькая? Где рыженькая? Не вижу никакой рыженькой.

– Да вон же, рядом с черненькой, негритянской. . . С той, что чирикает. . .

– Чирикает? Да они никогда не чирикают! Это птички, болван! Ты видишь их гнездышки. . . Конечно, должен признать, формы у них несколько специфические, но тем не менее. . .

– А вон та говорит мне: мяу-мяу!

– Это такая птица-кисанька. И подумать только, все это на дороге, по которой могут ходить дети! Я подам жалобу. Нас должны защитить от подобных мерзостей. Нет, не смей туда смотреть! Это просто неслыханная непристойность!

– Папа, ты зря все время думаешь об этом. Шопенгауэр сказал, что стремление к абсолюту убивает.

– Это ты мне? Ты посмел сказать мне такое? Я покажу тебе Шопенгауэра! У меня, слава Богу, есть глаза, и не воображай, что ты сможешь скрыть от меня свои пакости! Глазеть на подобные мерзости! Какой стыд! Да еще при собственном отце! Все, марш домой!

И они отвалили. Я покачал головой. Ах, мечтательное человечество! Вечная тоска по идеалу.

– Истинные визионеры, – отметил Флориан. – Видишь, дорогая, не ты одна мечтаешь об абсолюте. Беспредельные духовные потребности пожирают человеческую душу... Между прочим, у меня всегда была слабость к рыжим.

– А мальчик очень мил.

– Он еще вернется, дорогая. К следующему разу он будет уже вполне готов.

– Флориан.

– Да, любимая.

– Последнее время я очень много думаю о Боге.

– Хорошо, дорогая. Как только Он объявится, я тебя с Ним сведу.

## 35. Земная Корова и небесный Бык

Я как раз предавался размышлениям насчет неизмеримых бездн души человеческой, этого Океана, столь богатого на утонувшие сокровища, волнующее наличие которых порой открывается нам, когда глубинные бури выносят их на поверхность, и тут почувствовал, что кто-то тянет меня за ногу. Ну конечно, Шатц. Отнимите у немца его еврея, и он сейчас же начинает ощущать себя обездоленным.

– Поглядите.

Я обнаружил, что Шатц, совершенно обезумевший от подрывных элементов, что кружат вокруг нас, – солнце и луна, казалось, сократились в размерах и изменили свои функции, причиной чего могло быть только воздействие на них потрясенной и злобной психики, явно пребывающей в тисках комплекса кастрации, – так вот, я обнаружил, что Шатц напялил солдатскую каску, вне всяких сомнений, опасаясь, что небосвод рухнет ему на голову. С первого же взгляда я понял, что каска тут не поможет, совсем даже напротив. Нет, не надо думать, будто я испытываю к пресловутой германской мужественности этакую неодолимую враждебность, просто когда она принимает такие размеры, я имею полное право вознегодовать. Я прекрасно понимаю, что Шатц тут ни при чем, что бесспорной причиной всего этого является сволочное подсознание того гада без чести и совести, который держит нас в себе и грязнит нас своей подлостью и своими постыдными болезнями, но тем не менее это вовсе не значит, что Шатц должен появляться в таком виде. Конечно, мне известно, что в повести Гоголя «Нос» вышепомянутый орган сбежал с лица своего законного обладателя и разгуливал по улицам Санкт-Петербурга в блестящем мундире, но, с одной стороны, мы же все-таки не в царской России, мы в лесу Гайст, месте возвышенном, где дышит дух, а с другой – я предпочел бы скорей уж иметь дело с любым носом, нежели с Шатцем в его нынешнем обличье, *тьфу, тьфу, тьфу*. Ну, я и разорался:

– Вы не смеете появляться в таком виде!

– А что такое?

– Послушайте, Шатц, если вы не видите, во что вы превратились, вам достаточно ощупать себя! Вы не имеете права на подобную харю! Это омерзительно! Вам бы следовало сходить к психиатру!

Шатц от возмущения стал зеленый, и клянусь вам лапсердаком моего славного наставника рабби Цура из Бялостока, ничего отвратительней в жизни я не видел. Какой-то миг у меня была надежда, что, может, это ничего, может, это Пикассо, однако явившееся моему взору было настолько реалистично и фигуративно, что я даже отвернулся. Зеленый, ну совершенно зеленый! Ой, такого цвета я не пожелал бы своим лучшим друзьям.

– Так, значит, мне надо бежать к психиатру? – заорал Шатц. – Но это вы, Хаим, видите меня таким! Это происходит у вас в голове! Вы – типичный образчик вырожденческого еврейского искусства, и я это всегда утверждал!

Я открыл глаза и заставил себя глянуть. Поскольку на башку он напялил каску, мне пришлось рассмотреть его поближе, и это лишь усилило мое отвращение. Но зато дало возможность высказаться.

– Нет, могу вас заверить, это вовсе не еврейское искусство, – заявил я ему со всей решительностью.

– Ну хорошо, давайте обсудим, – буркнул Шатц. – Я ничего не хочу вам сказать, чисто из деликатности, тем паче что прекрасно знаю, что мы влипли в попытку переворота. Только я не дам этому террористу прикончить меня. Но вы все равно должны взглянуть на себя. Повторяю, вы обязаны взглянуть на себя! Ха-ха-ха!

Я так и остался стоять на месте. И даже поднес уже руку к лицу, чтобы пощупать, но нет, я не позволю этому спившемуся хаму, находящемуся в состоянии полнейшего разложения, мало того, полнейшего зеленого разложения, навязывать себе что бы то ни было.

– У вас галлюцинации, – с величайшим достоинством парировал я.

– У меня галлюцинации? Хаим, ощупайте себя, проверьте, человек ли вы! Так вот я скажу и надеюсь, это доставит вам удовольствие: вы – человек, доподлинный, стопроцентный, и тут уж нет никаких сомнений. Ха-ха-ха!

Я горделиво выпрямился. Принял этакий небрежный вид. Слегка пошевелил ушами, чтобы чуток успокоиться, но это совершенно безобидное движение ушными раковинами вызвало у Шатца приступ безудержного веселья. Он прямо пополам согнулся, что само по себе зрелище – *тьфу! тьфу! тьфу!* – омерзительное, тыкал мне чуть ли не в лицо пальцем и ржал как безумный.

Мне все стало ясно. Не осталось никаких сомнений насчет характера злобного и террористического поведения, объектом которого стал я. Я знаю, что это.

Это антисемитизм, вот что это такое.

– Хаим, говорю вам, сейчас не время ругаться. Мы оба с вами в одном и том же дерьме. И это еще не конец. Идемте, сейчас я вам кое-что покажу.

Не представляю, что такого *еще* он мог бы мне показать.

– Благодарю вас. Я уже вполне достаточно видел.

– Да идемте, говорю вам. Готовится нечто ужасное.

Произнес это он с такой убежденностью, что я наперекор себе последовал за ним.

Лес Гайст, как всем известно, место очень возвышенное, расположен он на холмах, что тянутся около Лихта. С окраины леса открывается исключительно красивый вид на долину и поля, а на горизонте маячат дымы Дахау. Обнаружив, что пейзаж не изменился, я почувствовал облегчение. Хмырь этот, само собой, людей не щадит, но, возможно, именно поэтому к природе относится с бережностью. Итак, ни поля, ни луга никаким психически сомнительным элементом запятнаны не были. Воздух прозрачен, пронизан солнечным светом, весело поблескивают речные струи, все чистенько, все в порядке.

Несколько, правда, сбивает с толку религиозная деятельность на полях. И тут я осознал, что произнес «религиозная» инстинктивно, не задумываясь, быть может потому, что всегда был немножко склонен к мистике, как вы, должно быть, уже заметили, но, надо сказать, характер этой сельскохозяйственной деятельности не поддавался точному определению. Вполне возможно, на меня повлияли доминиканцы в белых рясах, которых было великое множество в толпе. Во всяком случае, толпа там собралась огромнейшая, можно подумать, что сбежалось население со всей округи. С высоты, откуда мы смотрели, все это смахивало на Брейгеля, однако то, чем с лихорадочным пылом занимались все эти добрые люди, не походило ни на что известное мне.

С первого взгляда можно было бы решить, что они пытаются звонить в колокол, но колокола там не было. Вся эта толпа ухватилась за веревку и изо всех сил тянула ее, а другой конец веревки – и тут я понял тревогу Шатца – исчезал в небесах.

Я задрал голову, приставил ладонь козырьком к глазам, старательно обшарил взглядом все небо, но так и не нашел, куда девается второй конец. Самое же странное, небосвод был лазурно-синим, без единого облачка, и тут сразу же возникает вопрос: на чьей шее может быть

завязана эта веревка? Люди эти, похоже, тянут изо всех сил, то есть, надо полагать, на втором конце кто-то сопротивляется. Если бы дело шло только о том, чтобы определить характер их стараний, я бы сказал, что это крестьяне тянут на выгон корову или норовистого быка. Но нет же. Я решительно не мог понять, что они задумали, чего ради они так выламываются. Они тянули то так, то этак, но второй конец веревки по-прежнему терялся где-то в небесных безднах.

Я попытался призвать на помощь душу моего добрейшего наставника рабби Цура, но даже в Каббале, насколько мне известно, не было ничего, что могло бы мне помочь.

И они пели. Тянули за веревку и пели, и мне почудилось, что я распознал в этом хоре песню волжских бурлаков. Корабль какой-нибудь? Никаких признаков корабля я не обнаружил, и потом, с каких это пор корабли плавают по небесам?

И вот тут Шатц высказал гипотезу. Не Бог вещь какую, но лучше хоть какая-то гипотеза, чем ничего.

– Это все из-за Лили, – сказал он.

– Что значит, из-за Лили?

– Им это уже осточертело. Допекла она их своей требовательностью.

– Ну и что?

– Они требуют подмоги.

– Подмоги?

– Послушайте, они наконец-то поняли, что только Бог способен ублагоотворить ее, и вот пытаются приволочь Его к ней.

Однако... Меня тоже все это уже здорово допекло. Конечно, Шатц порет чушь, но задуматься над нею стоит.

– Понимаете, молитвы, свечи, службы, от них никогда никакого толку не было, и вот теперь они прибегли к непосредственному воздействию.

Чем дальше я размышлял, тем резонней казалась мне эта гипотеза. Этот хмырь всячески притворялся, наводил тень на плетень у себя в подсознании, но все-таки не смог не выдать себя. Впрочем, чем дальше углубляешься в подсознание, тем больше шансов наткнуться там на Бога. Нужно только как следует покопаться. Все эти умники одинаковы. Розовые мечты, старательно укрытые под мусором. Великолепные обломки дивных небес. Доисторические святилища в полной сохранности, которые так и заманивают воспользоваться ими. Кстати, думаю, движение тут идет в обоих направлениях. Чем глубже влезает в подсознание человека, тем верней можно наткнуться на Бога, чем глубже влезает в подсознание Бога, тем больше вероятность наткнуться на человека.

И мы еще не готовы выпутаться из этого затруднения.

Я коснулся крайне деликатной теологической проблемы.

– Вы полагаете, они понравятся друг другу? Ведь в таких случаях никого нельзя принуждать. Необходимо хотя бы минимальное взаимное влечение. А представляете, они вдруг почувствуют отвращение друг к другу? Нельзя же их насильно заставлять. Одно дело – покрыть корову на пастбище, и совсем другое здесь. Вы думаете, тут можно обойтись без участия сердца?

– Да ничего я не думаю, – уныло ответил Шатц. – Я знаю одно: если эту девку не удовлетворят, жди большой беды.

Но с другой стороны, не может же быть, что Господь откажется осчастливить человечество, если их обоих наконец свести в благоприятной обстановке. В сущности, до сих пор Он был связан по рукам и ногам церковью. Совершенно очевидно, что церковь не создала

подходящей обстановки, совсем даже напротив. Она окружила Бога такой атмосферой ложной стыдливости и испытывала такой священный ужас перед плотью и плотскими радостями, что самая прекрасная натура даже при наилучших побуждениях не решалась проявить себя. Видимо, церковь полностью подавила Бога. Я имею в виду всего лишь нашу старую иудео-христианскую церковь, потому что у Бодхисатвы подобное осуществление особо предвидится и ожидается. Вполне возможно – я всего лишь высказываю гипотезу, так как моего дорогого наставника из Бялостока тут нет и я не могу воспользоваться его духовной поддержкой, – то есть я хочу сказать, очень даже возможно, что наша церковь, создав вокруг Бога и Его добродетельности атмосферу абстрактности, бессильной чахлости, ложной стыдливости и бесплотности, окружив Его неусыпным надзором, добилась того, что у Него развились комплексы, и даже если Он и не стал импотентом, то стал страшно робким. Нашей старой иудео-христианской церкви, возможно даже, удалось обратить Бога и вызвать у Него отвращение к плоти и ее потребностям. И таким образом получается, что, когда речь заходит о даровании человечеству не загробного, а телесного и земного счастья, Господь Бог начинает испытывать серьезные затруднения, у Него возникают угрызения совести, Он становится узником наших предрассудков и нашего культа страдания, оказывается полностью подавлен и не решается проявить Себя во всем Своем всемогуществе. А бедная плоть Лили тем временем изнывает и мучается.

– Надо бы, наверно, ее предупредить, – сказал я Шатцу. – Нельзя, чтобы это стало для нее потрясением. Это может окончательно травмировать ее, и она уже никогда не избавится от фригидности.

Шатц все больше и больше погружался в уныние и растерянность.

– А представляете, вдруг она Ему не понравится? – пробормотал он. – Он ведь еще никогда не рассматривал ее под таким углом зрения. Дело-то тут не в ее душе, а во внешности. Представляете, вдруг Он только глянет на нее и сразу задаст деру?

Сколько бы я ни копался в Каббале, я все равно не нашел бы там ничего, что позволило бы мне разобраться с этой новой теологической проблемой.

– Во всяком случае, нет никакой уверенности, что Его удастся уговорить даже с веревкой на шее, – задумчиво произнес я. – Так что, может, лучше не стоит давать Лили ложную надежду, лучше позволить событиям идти своим ходом и . . .

Но тут я прервал речь, потому что услышал далекий звук, который я прекрасно знал и которому никогда не был способен противиться. Так что я повернулся к Шатцу спиной и устремился в лес.

## 36. Гулкий рог во мгле лесов

Торжественный и мужественный звук доносился из лесной чащи. Думаю, я единственный слышал его: у нас очень чуткие уши, вся наша история – сплошная тренировка слуха. Припав ухом к стене гетто, мы напряженно вслушивались, тщетно пытаюсь уловить приближение спасителей, помощи извне. Никто так и не приходил, но, поскольку мы все время напрягали слух, он развился у нас, и мы стали нацией музыкантов. Горовиц, Рубинштейн, Менухин, Хейфиц, Гершвин и тысячи других – выходцы из еврейских местечек, затерянных на русской равнине: держа все время ушки на макушке, мы научились уже издали улавливать топот копыт казачьей конницы, стук сапог на улицах Амстердама, постоянные перемены настроений Германии, украинских атаманов и Святой Руси. И вот таким образом после расселения уши у нас обрели отличительные признаки, до той поры отсутствовавшие: вы все, должно быть, отметили у мертвых еврейских подростков в гетто – есть очень занимательные фильмы на эту тему – чрезвычайно разившиеся уши, напоминающие лопухи.

Так что нет ничего удивительного в том, что я единственный, кто услышал рог. Звучал он очень красиво, потому что издали. Но вот он приблизился, и теперь уже его услышала Лили, да и Флориан тоже. Даже Шатц, хоть и легавый, – он уже успел присоединиться ко мне в кустарнике, – также проявил к нему интерес. Нет, это еще не фюрер, но, может, уже фон Тадден. А на лице Лили я уловил мечтательное выражение. Похоже, рог произвел на нее благоприятное впечатление. А он звучал все ближе, все настойчивей, все продолжительней, я бы даже рискнул сказать, проявлялся с какой-то особой мужественной основательностью. Да, это было серьезно. Флориан выглядел крайне раздраженным.

– Не слушай его, дорогая. Он просто хвастается.

– Люблю я гулкий рог во мгле густых лесов\*, – вполголоса произнесла Лили.

– Единственное, о чем он оповещает, так это о том, что сезон охоты открылся... Вот только не знаю, на кого они могут охотиться.

А рог звучал все настойчивей. На мой слух, немножко грубовато. И поскольку был он совсем близко, это стало очевидно. Да, мы этого не можем не почувствовать. Я поморщился. Но Шатц заинтересовался: возможно, это еще и не идеал, но дает надежду. Как заметил г-н Галински, глава еврейской общины Берлина, среди многообещающих заглавий статей появилось и такое: «Еврейская пресса растлевет Германию».

Рог был уже так близко, что это стало даже неприятно.

– Как он чудесно звучит, – промолвила Лили. – Я люблю рог, Флориан. В нем обещание чего-то...

– Дорогая, мы уже пробовали музыку. Ничего это не дало. И наших проблем не решило. Она только обманывает ожидания. Подлинного, великого инструмента не существует. Впрочем, люди над этим работают. Никто не запрещает надеяться. Кстати, вскоре они получат искусственное сердце.

– Он уже рядом, – прошептала Лили.

Я просто ощущал, как она изнемогает. Прямо-таки незабываемая картина: подлесок, цветочки, звук рога, все на месте. Вот так и изображают ее, нашу принцессу из легенды, на всех гобеленах.

\*Первая строка стихотворения А. де Виньи «Рог», перевод Д.О. Корнеева.

– Осторожней, – бросил Флориан. – Когда слышится рог во мгле лесов, это всегда звучит прекрасно, многообещающе, но, по сути, он сообщает единственное: вот-вот появятся злощие псы.

Из леса вышел охотник. Он еще не оторвал рог от губ. Заметив Лили, он тут же принял выигрышную позу. Lederhosen\*, тирольская шляпа. Красавчик мужчина, пропорционально сложен, много мяса там, где надо. Бархатные, на редкость глупые глаза. То, что на идише называется «дурацкая рожа». Красивые усики. На немца не похож. Если судить по его стандартному виду, он скорее смахивает на персонажа из какого-нибудь рассказа Мопассана или с импрессионистской картины, помните, красивые усатые самцы в старомодных купальных костюмах и с веслами. Лили улыбнулась ему, и охотник принял еще более выигрышную позу. Выставил ногу, надул щеки, поднял рог к небу и готов уже был затрубить.

– Свинья, – с нескрываемым раздражением буркнул Флориан.

– Какой чудный инструмент, – восторженно выдохнула Лили.

Охотник был польщен:

– О, спасибо, мадам.

Глубокий низкий голос. Исходит прямо-таки из самых глубин его существа.

– За что спасибо? – пробурчал Флориан. – Погодите пока благодарить.

Он и не думал сдерживать себя. Охотник, так эффектно появившийся, был ему крайне несимпатичен. Это чувствуется на расстоянии. Я было даже подумал, уж не ревнует ли Флориан.

– Экая дурацкая харя, – бросил Флориан, даже не подумав понизить голос.

Но суперсамец не слышал его. Все его внимание приковано к Лили. У меня даже возникло ощущение, что рог в его руке вдруг побелел. Раскалился добела. Ах, вечно одно и то же. Стоит ей взглянуть на них, и каждый начинает чувствовать себя сверхчеловеком. Так что, похоже, сверхчеловеки существуют, они отнюдь не праздная мечта Ницше. Во всяком случае, был один, который не обманул ожиданий Ницше. Вы могли читать о нем в репортажах с Кубы времен диктатора Батисты. Нет, то был не диктатор, совсем даже напротив, самый настоящий сверхчеловек без всякой липы. Звали его Хулио-супермен, а видеть его можно было в некоторых кабаре, куда в те времена ходили как в кино, чтобы созерцать сверхчеловеческие возможности. То был поистине потрясающий феномен. Ему приводили семнадцать женщин, и с каждой он доходил до абсолюта. А для доказательства публике, что он подлинный сверхчеловек и не мошенничает, он в решающий момент вынимал, чтобы все скептики и циники, по природе своей склонные к недоверию, все прирожденные ниспровергатели, не верящие в могущество человека, могли убедиться: тут нет обмана, и он действительно семнадцать раз по-настоящему кончает. Если бы такое увидели Наполеон или Микеланджело, они впали бы в тяжелую нервную депрессию, заполучили бы устойчивый комплекс неполноценности.

Вот это, что бы там ни говорили, и есть истинное величие.

Лили любовалась великолепным и благородным музыкальным инструментом охотника, и ее лицо, ее глаза, этот свет, это неожиданное освещение, что сделало ее еще прекрасней, я не забуду до тех пор, пока останусь мертвым. Я воистину узрел нашу всеобщую королеву в апофеозе страстного пыла и ласкового томления в тот миг, когда она собиралась даровать земное человеческое счастье. Она чуть приподняла свое шедевральное тяжелое платье – сколько горести, грез, любви, кропотливого труда и веры! – сделала шаг, ступая по маргариткам, и тотчас же, словно то был знак небесного благоволения, в лесу Гайст, в котором давно уже не осталось никакой положенной ему от природы дичи, который весь зарос травой, возникли

\*Короткие кожаные штаны (нем.).

двадцать семь Сократов, семь Гомеров, четырнадцать Платонов, двадцать семь Лейбницев, семьдесят два Иоганна Себастьяна Баха, два махоньких Генделя и три тысячи четыреста греческих и индийских богов и божеств среди единорогов, святилищ и ста сорока четырех мифологических зверей, пребывающих под присмотром их естественных пастухов, философов, хранителей музеев и поэтов, меж тем как тысяча коршунов взмыли в воздух и каждый нес в клюве послание надежды и любви. Какой гобелен, какой шедевр, какое искусство, какая магия! Ощущение, будто каждая травинка вновь преисполнилась надежд.

– Она ляжет с ним, – сообщил мне комиссар Шатц, и в голосе его я услышал всю неудовлетворенность столетий лирического наваждения и вдохновений.

– Какой чудный инструмент! – снова промурлыкала Лили. – Можно мне его потрогать?

Охотник безмерно удивлен. Такого он не ожидал. Он с трудом пытался сориентироваться.

– Но... конечно! Буду польщен!

– Польщен, польщен, – пробормотал Флориан. – У, гад!

Лили потрогала рог:

– Какая прекрасная линия!

– Вы мне льстите, фрау!

– Да за кого он себя берет! – проскрежетал Флориан.

– Сыграйте, пожалуйста!

Охотник дунул в рог. Теперь, когда звук рога прозвучал совсем рядом, он показался мне отвратительным. Ничего общего с тем дальним, ностальгическим, доносящимся от горизонта. Сейчас он звучал резко, грубо. Реальность, как всегда, убивает мечту. Я нашел, что звук рога похож на мычанье быков по пути на бойню, было в нем что-то глубинно тупое и в то же время возмущенное. Что-то наподобие «му-у-у!» крупного рогатого скота. Но на Лили он произвел впечатление, тут уж сомневаться не приходится.

– Так и ждешь, что небо ответит ему, – промурлыкала она.

Она не ошиблась: я услышал, как вдалеке залаяли собаки.

– Вот, ответило, – констатировал Флориан.

Лили своей восхитительной рукой, которую нарисовал Леонардо, снова коснулась рога, сперва робко, но потом стала гладить его.

– Я обожаю все, что возносится к бесконечности, что указывает дорогу к небу... .

Охотник благодарно поклонился:

– Я получил первую премию за игру на роге на выставке крупного рогатого скота в Санкт-Венцеслаسه... Золотую медаль, фрау... .

Она схватила его за руку:

– Золотую медаль?

– Да, фрау.

– Взгляни на этот лоб, Флориан! Какой он высокий! Какой огромный! Это не лоб, это стена, открытая гению нового Джотто, нового Пьеро делла Франческа!

– Благодарю вас, фрау.

Флориан сплюнул.

– Как обычно, та же самая старая стена и та же самая старая награда, – пробурчал он.

Принцесса из легенды кончиками пальцев провела по вышеупомянутому лбу:

– Знак судьбы... Это основатель империй... Разве ты не слышишь, какое безмолвие вокруг нас? Мир затаил дыхание. Произойдет что-то необыкновенное... Прощай, Флориан. Мне больше не потребуются твои услуги. Когда я вернусь, ты не узнаешь меня. Я стану другой. Преображенной, успокоенной, счастливой, наконец-то удовлетворенной. Ты будешь

изгнан. Тебе будет запрещено бросать свою бесстыдную тень на землю. Я вознесусь высоко-высоко и никогда больше не опущусь. . .

– Дорогая, подстели что-нибудь на землю, становится прохладно.

Лили нежно сжала руку охотника и посмотрела на него томными очами, в которых блесло по еврейской звезде.

– Золотая медаль!

И они удалились. Почти сразу же я услышал звук рога: охотник занят своим делом. Звук был очень красив, очень мужественен, трогал за сердце, но длился не слишком долго. Затем миг тишины, а потом снова зазвучал рог; он, этот охотник, был сильной натурой, но уже чувствовалась дрожь, чувствовалось напряжение. Не было уже подлинного вдохновения. Да, талант, способности, но той высокой гениальности, которая могла бы даровать Лили реальность, соразмерную ее тоске, не было. Я ждал. На сей раз молчание продолжалось куда дольше. Гений запыхался. Должно быть, выбился из сил, обливался потом, тщетно ждал помощи небес. Я поморщился. М-да, от реального шедевра, долгожданного, дарованного, обретенного, мы страшно далеки. Прирожденные способности несомненны, но на них далеко не уедешь. Все это уже было, было, все это мы уже видели. Кажется, если вы читаете Мао Цзедуна, это удесятерит ваши возможности, и вы становитесь чемпионом мира по пинг-понгу, но меня страшно удивило бы, если бы всем семистам миллионам китайцев подобное удалось. Только не приписывайте мне то, чего я не говорил: я вовсе не утверждаю, что она не может, что она фригидна, я лишь говорю, что просто мы не обладаем тем, что нужно, и тут уж Маркс, Фрейд или там Мао не помогут. Необходим Мессия. Истинный. Обладающий тем, что нужно. Он придет. Надо только потерпеть. Мессия придет. Он явится к ней, возьмет ее за руку и даст наконец то, чего она так долго ждала. И это станет концом поисков, разочарования, тоски. Возможно даже, что кто-то после этого и выживет, не стоит предаваться пессимизму.

И вот рог зазвучал в третий раз. Начало было очень красивым, звук усиливался, вибрировал, завывал, но была в нем какая-то нервность, надсадность и, как бы это сказать, *нарочитость*, однако, тем не менее, рог звучал, завораживал. . . Энергия отчаяния. Увы! Трижды увы! Я сморщился. Звук слабел, прерывался, всхлипывал, давился и завершился каким-то жалостным бурчанием. Флориан покачал головой и вынул нож:

– Пожалуйста. Все как всегда. Уж коль сил нет, ничто не поможет, или, если угодно, даже самому прекрасному на свете приходит конец.

## 37. Козел и Джоконда

Он ушел, и мне стало немножко грустно от мысли, что надежда всегда будет лишь звуком рога во мгле лесов, и потому я обратил свои помыслы к Тому, Кого с такой любовью указал мне рабби Цур обвиняющим перстом, и было подумал, а не стоит ли мне совершить нечто позитивное и пойти помочь людям, тянущим за веревку, вместо того чтобы оплакивать судьбу Лили, как вдруг увидел выходящих из-за деревьев барона фон Привица и графа фон Цана. Я тотчас же понял, что события ускоряются, то есть дела принимают скверный оборот и этот террорист, обложивший нас со всех сторон, твердо решил извергнуть, изbleвать нас вместе со всеми нашими световыми годами и мелкими потребностями, чтобы наконец иметь возможность спокойно почитать газету. Похоже, избранные натуры вызывали у него особенную злобу и враждебность. Например, барон фон Привиц – кстати, он ничем не запятнал себя при нацистах, совершенно ничем – пребывал в особенно жалком состоянии. Его костюм был весь в крови, но это было бы еще ничего, если бы не развязавшийся галстук-бабочка. В ужасе он вертелся как юла, и в этом нет ничего удивительного, поскольку его буквально заливала улыбка восьмидесятилетнего еврея-хасида, которого таскал за бороду немецкий солдат, тоже сияющий белозубой улыбкой, а другие солдаты осаждали барона и его избранную натуру ослепительными улыбками, позируя перед фотоаппаратом, что держала в руках Джоконда.

– Я тут ни при чем! – стонал барон, пытаюсь избавиться от грязной еврейской улыбки, пятнавшей его облачение. – Я удалился в свой замок!

– Крепитесь, дорогой друг! – блеял граф. – Главное, сохранять хладнокровие.

Мне, право, было непонятно, почему они так обеспокоены сохранением крови холодной, ведь они с головы до ног были покрыты ею, причем уже засохшей.

Я отметил, что руки барона обременены скрипками Страдивари, насчитал я их не меньше двух десятков, а барон, хоть и был без штанов и отчаянно оборонялся от черного козла и крайне злобно настроенной солонки, тем не менее не выпускал из рук культуру в прекрасном состоянии, полное собрание в шести томах, включая полный каталог, скатерти и салфетки, и без дрожи взирал на еврейский кулак, лезущий ему под нос из люка канализационного колодца.

– Это ужасно! – выдохнул барон умирающим голосом, в котором еще сохранялись отзвуки баховской фуги. – *Они* возвращаются!

– Надо что-то делать! – вскричал граф.

– Да, но что?

– Что-то решительное!

Граф боязливо огляделся.

– Этого как раз нельзя! – пробормотал он. – Слишком преждевременно и к тому же уже недостаточно!

– Господи Боже! – простонал барон. – А чем, в конце концов, заняты эти арабы?

Его лицо озарилось последним отсветом надежды. Ему пришла идея. С этого все всегда начинается.

– Надо любой ценой примириться с ними! Дорогой друг, этот портрет. . .

Граф все так же оборонялся от козла и солонки, но культуру из рук не выпускал. Невозможно было не восхищаться им. Правда, козел внезапно сменил объект и напал на Джоконду, которая только этого и ждала.

– Какой портрет?

– Портрет еврея Макса Жакоба, которого уничтожили нацисты, написанный евреем Модильяни, который поторопился и умер сам! Достаточно приобрести его у них, чтобы они наконец поняли, что Германия не отступит ни перед чем и мы готовы все забыть! Поспешим, друг мой, нельзя медлить! В наших музеях есть еще место!

Они попробовали выбраться, граф пытался подобрать Джоконду, козел разъярился; это был уже почти момент истины, барон трахнул козла скрипкой Страдивари по башке, культура защищалась, и я уже совершенно не понимал, кто там козел, кто там культура, тем паче что все было озарено боязливой улыбкой старого еврея-хасида, которого козел таскал за бороду на глазах других улыбающихся козлов, обращенных к культуре и грядущим поколениям.

У меня вдруг возникло впечатление, что я повторяюсь. Не знаю, четко ли вы представляете себе все последствия того, что называется «повторяться». Но в любом случае, если то, что я делаю, вам не по нраву, отойдите в сторонку, ступайте к конкурентам: слава Богу, недостатка в негритянских кабаках и во вьетнамских ресторанах нет.

Я проследил взглядом за парочкой аристократов: им наконец удалось вырваться, и они скрылись в лесу Гайст. Мне полностью понятно смятение, овладевшее избранными натурами, когда на бирже произошел окончательный обвал духовных ценностей. Впрочем, они это напрасно. Ведь как раз когда курс падает, когда он самый низкий, и нужно покупать. Правда, никто из нас в Аушвице не предвидел «немецкого чуда». А ведь на это можно было рассчитывать и извлечь из этого выгоду, по крайней мере в финансовом плане. Гитлер на серебряном блюде поднес нам возможность обделаться неплохим дельцем, а мы не воспользовались ею. Нет, право, не такие уж мы хитрые, как о нас говорят.

А еврейский кулак торчит по-прежнему. Я уж даже подумал, а вдруг это он мне грозит, вдруг тот хмырь разозлился куда сильнее, чем мне казалось. Да нет же, нет. Скорей всего, это памятник. Я решил подойти поближе и рассмотреть, но увидел возвращающихся Лили и Флориана. Лили не выглядела безразличной, как в прошлые разы, напротив, она, казалось, еще сильнее отчаялась. Лучше так, чем ничего, она, по крайней мере, хоть что-то почувствовала. Флориан нес рог, этот сукин сын обожает трофеи.

– Дорогая, нам надо поторопиться. Поезд отходит через полчаса, не забывай, нас ждет доктор Шпиц. Он просто чудотворец! Вспомни светскую даму, которая требовала, чтобы стучали в дверь во время. . . Шесть коротких ударов, один длинный. А ту, которая получала удовлетворение только в метро в час пик? И ту, что возносилась к небесному блаженству только в лифте, и еще одну, которой, чтобы она расслабилась, нужно было ласково приставить револьвер к виску? Безмерны тайны и бездны души! Но теперь, дорогая, у них все в порядке. У науки есть ответы на все. Так что ты можешь быть уверена.

Но она уже не верила. Голос ее чуть шелестел, но в нем еще не было безропотности, он еще оставался человеческим голосом:

– Я думала, что достаточно иметь сердце. . .

– Ну разумеется, дорогая. Доктор Шпиц в предисловии как раз очень подчеркивает важность сердца.

– Но он упоминает его точно так же, как печень или селезенку!

– Это означает только то, что он не преуменьшает роли ни одного органа.

– Но, черт возьми, я не хочу, чтобы о сердце упоминалось только в предисловии!

– Уверяю тебя, дорогая, наука полностью решит все твои проблемы. Она делает такие успехи. . . Вот увидишь, они изобретут что-нибудь совсем новое. . . Они изобретут любовь.

– Ты вправду так думаешь?

– А как же! Это лишь вопрос вложения средств. Да, да, именно любовь. Причем не тот отвратительный феномен, благодаря которому на земле стремительно размножаются мухи, скорпионы, пауки, ящерицы, гиены, шакалы и китайцы. Дорогая моя, ты просто расцветешь.

### 38. Любовь как индивидуальный акт

Ну да, не хватало только простого народа! И при этих пророческих словах появился Иоганн с канистрой бензина. Он увидел Лили, и впечатление было такое, будто принцесса из легенды, мадонна с фресок снизошла со своего прославленного гобелена к простым смиренным людям. Иоганн весь задрожал, сорвал с головы соломенную шляпу, прижал ее к сердцу, согнулся в почтительном поклоне; его физиономия озарилась лучезарной дурацкой улыбкой, а глаза излучали такую надежду и умиление, что все птички защибетали, цветы прямо на глазах стали распускаться, родники зазвенели что-то совершенно вергилиевское, а вся земля казалась растроганной святою простотой этой народной до самых печенок природы; известное дело, земля умеет узнавать своих.

– Смотри-ка, садовник, – бросил Флориан.

– О госпожа!

Но на сей раз, похоже, Лили была совсем не расположена.

– Что ему от меня нужно?

– Как это, что нужно? У нас демократия, и он имеет право сунуть свой бюллетень в урну.

– Ах, нет, только не он!

Флориан был потрясен:

– Лили, так нельзя! Неужели ты будешь кого-то дискриминировать?

– Нет.

– Лили, но послушай! Это уже чересчур! Это же народ! В нем все лучшее, самое дорогое, самое святое, достохвальное. . . Это уже никем не оспаривается, принимается как истина! И потом, никто на это не обратит внимания. Напротив, это поощряется.

– Нет.

Иоганн просто увял на глазах. На его лице появилось уязвленное, оскорбленное выражение; он стоял и хлопал глазами, чувствовалось: еще немножко, и он заплачет от разочарования, потрясения, унижения. Мне стало жаль его. Я считаю, что у Лили нет права пренебрегать простыми людьми. Она делает ошибку, обращая внимание только на выдающихся личностей. Ей бы следовало попробовать массы. Убежден, она бы не прогадала.

– Почему не я? – возопил в отчаянии Иоганн. – Почему все, кроме меня?

– Нет.

– Лили, что значит этот отказ?

– Господи, что я плохого сделал тебе? – стонал Иоганн.

– Не хочу.

– Лили, у тебя классовые предрассудки, это недопустимо.

Она топнула ножкой:

– Народ, вечно народ! Мне это уже надоело!

– Но, дорогая, именно в нем обретается истинный гений! Нужно помочь ему проявиться, дать ему шанс. Между прочим, Иисус был сыном плотника, он вышел из самых низов. Элиты необходимо обновлять!

– К черту!

– Прошу вас! Умоляю!

Иоганн упал на колени. Молитвенно сложил руки:

– Я хочу испытать это, как все другие! Я готов! Я чистый! Я помыл ноги!

– Лили, ты слышишь? Он помыл ноги. Это крайне трогательно.

– Не хочу.

– Но я сделаю все, что вы пожелаете! Все что угодно! Ради вас буду убивать, сколько прикажете! Я исполню любой приказ! Буду беспрекословно слушаться. Если надо, двадцать лет буду нести военную службу. Я пойду добровольцем! Пойду убивать куда угодно и ради чего угодно! Вы же знаете, вы можете требовать от меня все, что захотите. Я на все согласен! Я люблю вас!

– Лили, нельзя презирать простых людей. Это невежливо.

– Я – сын народа!

– Лили, ну снизойди к народу.

– А сейчас я даже социалист!

– Ты слышишь, Лили? Он – социалист. Он действительно имеет право.

– Отстань.

Иоганн зарыдал. Он тер кулаками глаза.

– Но почему? Неужели я такой противный? Мне стыдно, что меня отвергли. Это несправедливо. У меня тоже есть мама, и она любит своего сына.

– Ты слышала, Лили? Ты не можешь так поступить с его мамой.

– Заткнись.

– Сжальтесь! Я тоже хочу!

– Лили, нельзя же так относиться к человеку.

– Что он себе воображает, этот. . . За кого он меня принимает? Я все-таки не общественный транспорт.

– Но почему? – не унимался Иоганн. – Ответьте хотя бы, почему все, кроме меня? Надо мной вся деревня будет смеяться.

– Нет, это невероятно! Можно подумать, они принимают меня за нимфоманку!

– Да нет же, дорогая, нет. Они все хотят сделать тебя счастливой.

– Да! Да! Я желаю дать вам счастье! И сделаю все что угодно!

На сей раз Лили, похоже, заинтересовалась:

– Все что угодно?

– Да! Все! Не отступлюсь ни перед чем! Все что угодно! Вам достаточно лишь приказать! У меня такое желание! Такое желание!

– Слышишь, дорогая? У этого юноши самые благие намерения.

Лили, похоже, тронута. Она любезно улыбнулась Иоганну. В сущности, она не любит огорчать.

– Хорошо. Подойдите сюда.

Иоганн поднялся с колен. Но еще не решался.

– Ну, хватит стоять и глазеть на меня. Подойдите. Покажите, на что вы готовы. И пусть это будет по крайней мере красиво.

– Что, один?

– Да. Один.

– Хорошо. Сейчас.

Иоганн схватил канистру и облился бензином. Признаюсь, я был изумлен. Лили тоже.

– Ой! – с любопытством воскликнула она. – А я такого способа и не знала.

Иоганн достал из кармана коробку спичек. Он улыбался.

– Неплохо, неплохо, – одобрил Флориан. – Только отойдите чуть подальше, займитесь своими непристойностями в сторонке.

Иоганн удалился в кусты. И тотчас же я увидел пламя. Горел он хорошо. Лили захлопала в ладоши, как девочка.

– Флориан, посмотри! Как полыхает! Какой огонь!

На Флориана это произвело весьма благоприятное впечатление.

– Да, он сумел самовыразиться. Надеюсь, дорогая, ты убедилась, что нельзя презирать простых людей? Иногда в них скрываются огромные внутренние возможности.

Огонь погас довольно быстро. Лили некоторое время смотрела на черный дым, а потом заплакала. Флориан взял ее за руку:

– Не плачь, дорогая, не надо. Мне кажется, он не страдал и даже получил подлинное наслаждение. . . Не плачь же.

Но Лили была безутешна:

– Уже кончилось! Так быстро! О Флориан, ну почему это всегда бывает так недолго?

– Увы, дорогая. Но ты не огорчайся. Придут новые славные парни, чтобы поддержать священный огонь. Идем, дитя мое. Пошли, нам надо будет соблюсти минуту молчания. Таков обычай. Нужно поощрять высокие чувства. Идем, моя маленькая королева.

И, осторожно подталкивая, он увлек ее к идеальным местам.

Я подождал немножко, но нет, огонь не вспыхнул вновь, а у меня нет того, что ей нужно. Придется довольствоваться тем, что могу предложить ей немного, еще оставшееся у меня: надежду – надежду, что однажды она будет сотворена. Богом или людьми. Как бы мне хотелось стать свидетелем того, как человечество наконец выйдет из первородного Океана, где оно смутно грезит в бесконечном ожидании своего рождения. Мне нравится Океан, и я ожидаю от него многого, да что там, всего! Он беспокойный, бурный, он бьется в берегах, ему в них тесно. Он – мой брат.

часть третья  
ИСКУШЕНИЕ ЧИНГИЗ-ХАИМА

### 39. Букет

Происходит что-то подозрительное. С секунду, наверно, как я почувствовал, что надо мной нависла какая-то непонятная угроза, природу которой я сразу не смог распознать. Впечатление, будто я среди друзей, в полной безопасности, и меня прямо-таки обволакивает дружба, доброта, приветливость. Давненько я не чувствовал себя так хорошо, уверенно, окруженным такой благожелательностью. Преследованиям конец, и повсюду я встречаю лишь терпимость, сочувствие и любовь.

Короче, против меня готовится какая-то грандиозная пакость. Я ощутил такое спокойствие, что в тот же миг во мне возродились страх и недоверчивость. Проснулся инстинкт самосохранения, и я тотчас же невольно насторожился. С крайней подозрительностью я огляделся вокруг. Лес лучился духом экуменизма, везде я видел только терпимость и симпатию; каждая ветка казалась дружески протянутой рукой, меня заливала доброжелательность и благорасположенность, меня звали, меня обхаживали, мне общинчески подмигивали, кричали: «Друг!» – и я сразу понял, в чем дело: *эти сволочи переключаются на негров*. И само собой, мне предлагают присоединиться; по всему лесу Гайст звучал самый пьянящий и самый братственный напев из расистского репертуара: *«Шагай с нами, приятель!»*

*ТЬфу, тьфу, тьфу!* Ничего себе букетик! Только братства не хватало. Физически, если уж на то охота, ассимилировать меня нетрудно: достаточно хорошо целиться и метко стрелять по толпе. Но сама мысль, что я соглашусь *побрататься*, это уже чересчур, ничего глупее за две тысячи лет я не слыхивал.

Я знаю мелодию, знаю слова\*. Быть казненным, это еще куда ни шло, но оказаться среди тех, кто казнит! На этом они меня не подловят. Я не позволю затащить себя в такое дерьмо.

И я мгновенно принял исторически выработанную позу самозащиты: злобный и предательский взгляд, уши как лопухи, крючковатый нос с горбинкой, волосатые руки, раболепно согнутая спина и похотливые губы, то есть с головы до ног стал похож на изображения с шедевров религиозного искусства, а правую руку возложил на желтую звезду. Короче, представил им свой коронный номер из репертуара *«Шварце Шиксе»* – предателя Иуду. Неужто они откажутся от двадцати веков шедевров и христианской любви только ради того, чтобы я влился в их ряды?

Я и вправду оказался объектом исключительно опасной обработки, на которую поддались множество евреев, что и стало причиной упорного ее замалчивания. Речь тут идет уже не о физическом нашем уничтожении, а о моральном, а именно о попытке сделать полноправными и, таким образом, взвалить и на нас коллективную ответственность, в результате чего, среди прочих жутких последствий, оказалось бы, что мы сами виноваты в истреблении нас.

Когда, к примеру, узнаешь, что католическая церковь только что постановила, что евреи невиновны в казни Иисуса, мир праху Его, и при этом объявляет, что все мы – братья, надо быть полным дураком, чтобы не понять, что означает это только одно: нас пытаются ухватить с другого конца. Если все люди – братья, то тем самым с неоспоримой очевидностью следует, что евреи ответственны за смерть Иисуса, мир праху Его. Короче, все это шито белыми нитками.

\*Строка из 1-й главы поэмы Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка», перевод В. Левика.

Одним словом, меня им на это не взять. Я не куплюсь на братание. Евреи не являются полноправными, вы нам об этом слишком долго твердили, и теперь уже поздно соблазнять нас тем званием, которое вы согласны нам предоставить.

Меня хотят опозорить, обесчестить. Хотят взвалить на меня Аушвиц и Хиросиму.

Ну так я вам скажу, что означают все эти руки, по-братски протянутые мне со всех сторон. Это антисемитизм, вот что это такое.

И я не ошибся. Потому что едва я выбрался из-под Культуры, свалившейся на меня вместе с легкой недомолвкой, двумя песнями любви, тысячью тонн сострадания, двадцатью двумя самыми прекрасными и достойными всяческой зависти судьбами, одним миллиграммом чести, щепоткой напалма, шестью парами электродов для накладывания на яйца алжирцев, одним Орадуром-сюр-Глан, тремя волхвами, ворующими дары, одним улепетывающим со всех ног Мессией, одной Джокондой, которая все никак не могла закрыть рот, и канистрой бензина, что было уже чересчур, как тут же увидел несущегося по лесу Гайст Шатца в великолепном мундире нового вермахта, мир праху нашему. Кстати, а вы знаете, что среди нас было немало тех, кто не верил, будто немцы действительно на это способны? Они думали, что немцы всего лишь антисемиты.

Я рухнул на землю и притворился мертвым.

– Хаим, где вы? Потрясающая новость! Вас простили. Правительство Кизингера только что высказалось за массовую иммиграцию евреев всего мира в Германию. В настоящее время у нас их всего тридцать тысяч. А этого слишком мало, чтобы дать нам цель, идеологию, позволить осознать свою историческую миссию. Нам необходим по крайней мере миллион, чтобы германская душа пробудилась ото сна. Сегодня в Германии ощущается апатия, отсутствие идеала, который уже совершенно неразличим, и потому совершенно необходимо, чтобы евреи вернулись. Если Израиль согласится их отпустить, мы готовы менять их на грузовики.

Он не видел меня, но другие были уже тут как тут. Я прекрасно знал, что лес Гайст кишмя кишит ими, что они притаились со своими «Страдивари», чтобы сыграть мне свои братские мотивчики, только до сих пор они еще стыдились и всего лишь улещивали меня. Но теперь! С ума сойти, козел и тот оказался здесь. Я сопротивлялся, орал, я держал руки за спиной и напрочь отказывался брататься.

Самое печальное, евреи тоже старались вовсю, не хуже, чем другие. Они сгрудились вокруг меня, разгневанные, возмущенные, пытались сорвать с меня желтую звезду, причем с невероятным нахальством, прямо-таки с настоящим *идише хуце*; между нами говоря, евреев я тоже не больно люблю, в этих сукиных детях есть что-то человеческое, и потом, не забудем, они и до того причинили мне немало неприятностей.

– Хаим, ты что, совсем уже *мишуге*? Они предлагают тебе братство, а ты отказываешься! Отступник! Паршивая овца! Иуда!

Они, то есть евреи, были жутко возбуждены, разгневаны, даже озлоблены против меня. Они могли бы даже стать антисемитами, и это меня ничуть не удивило бы. Братство уже действовало. Они так долго были евреями, нахлебались этого по горло, а такое иногда заканчивается расизмом.

– Хаим, мы не имеем права отказываться от братства! Когда его предлагают, падают со слезами на глазах на колени!

– Да нельзя, нельзя поддаваться на эту их дерьмовую уловку! – кричал я. – Это отвратительно! Это грязь, это кровь, это сплошные трупы! Вас же надуют!

– Бери, скотина! Братство не обсуждают! На него соглашаются не глядя! Бери, говорят!

Особенно разошелся козел. Я защищался, вертелся волчком, спрятав руки за спиной, и пинал его ногами.

– Бери, пока дают, и скажи спасибо! Да бери же!

– Не выйдет! – орал я. – Я не поеду ни во Вьетнам, ни в Китай, ни в Алжир! Вам не удастся мне его всучить!

– Да бери, чтоб тебя! *In the baba!*

– *He-e-em! Это их братство гроша ломаного не стоит!*

– Ну и что, зато его даром дают!

– Как это даром? Коллективная ответственность, это для вас даром? Я поддаюсь на эту их уловку, и в ту же минуту руки у меня по локоть в крови.

– Да нет же, ты просто не понимаешь, что такое братство, у тебя нет к нему привычки. Если оно у тебя внутри, так это даже очень здорово. Ты со всеми заодно и ничего не чувствуешь.

Я никак не мог взять в толк, почему им так загорелось стать равноправными, с чего это такая спешка оказаться в одном ряду с немцами? Я попытался призвать на помощь лапсердак моего незабвенного наставника рабби Цура из Бялостока, никогда еще мне так не был нужен его совет. Не знаю, может, мне и почудилось, но я вдруг почувствовал, что в этот час опасности он здесь, рядом со мной, и мне вспомнилось, что он мне сказал однажды, когда я прочитал в газете, как белые в штате Миссисипи линчевали чернокожего. «Мошеле, – объяснил он мне, – негры очень гордые. Только вот кожа у них черная, и сразу видно, что они *не такие*, отличные. Само собой, другие, твердо знающие, что относятся к тем, которые все равны, чувствуют себя от этого уязвленными, испытывают унижение и завидуют, потому время от времени они убивают какого-нибудь негра, чтобы заставить остальных капитулировать и согласиться на братство, короче, принудить их согласиться стать полноправными людьми. Есть белые, которые при одной мысли об отличности негров начинают беситься от зависти: им просто невыносимо сознавать, что кому-то повезло увильнуть от равноправия. Но все уладится. Очень скоро негры капитулируют: они подвергаются такой пропаганде, что начинают утрачивать надежду и уже чувствуют себя равноправными; ждать недолго, вскорости они сами начнут кричать об этом на каждом углу, так что последнее слово останется за расистами».

Я пытался все это объяснить им, толкнул, можно сказать, целую речь, да где там: им просто не терпится быть заодно, такое, мол, не упускают, жуть какая! И мне пришла в голову страшная мысль: а может, вскоре и евреев-то не останется? Притом я вдруг вспомнил, что Израиль заключил культурное соглашение с Германией, и тут мне уж стало совсем худо, *тьфу, тьфу, тьфу*. Да, я вляпался в такую порнографию, в такую похабель, что в сравнении с ней Джоконда со своей улыбкой просто мадонна. Гляжу, а меня окружают нацисты в форме, с развернутыми знаменами, а во главе их Шатц в эсэсовском мундире, и мне на миг даже полегчало, появилась надежда, что, может, они пришли защитить меня, помочь мне спасти честь и достоинство, что, может, они сейчас откроют огонь и пристрелят меня. Как бы не так. Они вытягиваются по стойке «смирно», вскидывают руки, приветствуя меня, и все разом скандируют такую жуть, что мне показалось, будто вся земля покрылась гусиной кожей, как если бы и впрямь только что наконец-то было сотворено человечество:

– Еврей-с-нами! Еврей-с-нами!

– Н-е-е-е! – – верещу я. – На помощь! Спасите!

– Sieg Heil! Еврей-с-нами! Еврей-с-нами!

– Ни за что! Гитлер! Где Гитлер! Я требую Гитлера! Он не допустит! Гитлер, на помощь! Лучше сдохнуть!

– Евреям-слава! Евреям-слава!

Шатц, вскинув руку, с братством на устах парадным шагом направляется ко мне:

– Хаим! *Все мы братья!*

Я рву на себе волосы.

– *Арахмонес!* Сжальтесь! Не хочу! Все что угодно, только не это!

– *Все мы братья!*

– *Гвалт!* Прекратите ваши жестокости!

Он раскрывает мне объятия:

– Хаим, мы предлагаем вам братство! Вам это ничего не будет стоить, платят ведь всегда другие. Вы сделаете хорошее дельце!

– Такого дельца, как это, я не пожелал бы. . .

У меня даже не было сил закончить. Братство уже прет со всех сторон, предлагает себя, тут уже вся их История, Сталин вешается мне на шею, взасос целует в губы, я придумываю рабство, крестоносцы подвигаются, чтобы освободить мне место, Симон де Монфор самолично демонстрирует мне, как надо брать младенца еретика за ножки, чтобы размозжить его голову о стены Тулузы, я гильотинирую Людовика XVI, становлюсь среди гор трупов маршалом Французской империи. . .

– Нет! – негодуяще ору я. – Франция для французов!

Я пытаюсь вырваться из этого леса братских рук, что тянутся ко мне, отбиваюсь изо всех сил, отчаянно пинаюсь. . . Ой нет, не убежать: это братство.

– Мы братья!

Лучше уж сдохнуть. Но и это тоже братство. Похоже, крышка.

– Хаим, мы же все люди, так что тебе не выкрутиться.

Я заткнул уши. Не желаю слышать. *Гвалт!* Я скажу вам, что это такое.

Это гестапо, вот что это такое.

И тут меня охватило возмущение, да такое, что чувствую, силы удесятерились. Рванулся я – сам даже не ожидал от себя подобной прыти, – припустил во все лопатки, бегу стрелой, ног не чую, несусь через лес, падаю, вскакиваю, ползу на четвереньках, лишь бы смыться от них, наконец забираюсь в кусты – кажется, их больше не слышать.

Думаю уже – все, спасен, как вдруг носом к носу сталкиваюсь с каким-то типом, у которого вид еще испуганней, чем у меня, и к тому же он только что разделся.

Узнал я его не сразу. Гляжу на него с подозрением, но нет, этот вроде добра мне никакого не желает. И тут до меня доходит, что вовсе он не раздетый, а просто совсем голый и вообще едва живой. Худобы же просто невероятной. Лицо его мне показалось смутно знакомым, и вдруг я с изумлением обнаруживаю, что это же вылитый мой портрет, мы похожи как две капли воды.

– Не могли бы вы одолжить мне какую-нибудь одежду? – обращается он ко мне на иврите. – Однажды я возьму вам стократ за нее.

– А что вы тут делаете нагишом?

И только сейчас я заметил, что все тело у него в синяках и в ранах, лоб кровоточит, и подумал, а может, он тоже спасается, как я, чтобы ему не навязали братство.

– Ох, не спрашивайте! – отвечает он. – Они столько веков ждали меня, и как только увидели, что я пришел, сразу организовали комитет по встрече.

И тут-то я наконец узнал Его. Меня охватило волнение. Я всегда почитал Его. Это настоящий еврей. Он ведь тоже мечтал сотворить мир. Он глянул на мою желтую звезду:

– Не стоило бы вам носить ее так на виду. Неосторожно это.

Он знает, что говорит. Он ведь в куда большей опасности, чем я, тут двух мнений быть не может.

– На вокзале в Лихте полиция опознала Меня, – сообщил Он. – При том, что Мои портреты висят во всех музеях и к тому же воспроизведены по всему свету в миллионах экземпляров, шансов остаться незамеченным у Меня не было. Не надо Мне было опять приходить. Но для Меня было очень важно увидеть, что это дало, и Я сказал себе: две тысячи лет – срок вполне достаточный, чтобы Я смог оценить, какие произошли изменения.

Жаль мне Его стало.

– А Вы что, не знали?

– Нет, – ответил он. – Не знал. Я доверял им. Это ужасно. Если бы Я мог такое предвидеть, Я остался бы евреем. Ради этого не стоило позволять Себя распинать.

– Нет, нет, тут Вы немножко несправедливы, – заметил я. – Без Вас не было бы ни Возрождения, ни примитивов, ни романского стиля, ни готики, короче, ничего. Сплошное варварство.

Но Он не слушал меня. Я почувствовал, Он по-настоящему возмущен.

– Вы видите, что происходит? Я прошел по всему свету, сделал большой крюк в Азии. Никогда бы не поверил, что распятие войдет в обыкновение. И никто на это внимания не обращает.

– А как на этот раз Вам удалось ускользнуть от них?

– Возможности, как вы можете догадаться, у Меня пока еще есть. Но должен признаться, в общем-то с трудом. Они были вне себя от радости. И сразу приперли огромный крест, можно подумать, он у них уже был запасен в ожидании Моего пришествия. Они Мне и слова сказать не дали, сразу же напялили на голову терновый венец. Когда же Я стал им кричать, что думаю о них, и они сообразили, что Я не позволю произвести это с собой вторично, поскольку понимаю: ничего это не даст, они развопились, стали обзывать Меня самозванцем, но почему-то не оставили в покое, а поволокли распинать под тем предлогом, что Я, дескать, лжемессия. Как вам нравится такая логика? Нет, с этими людьми ничего добиться не удастся.

– И что же Вы намерены предпринять?

– Раздобуду на какой-нибудь ферме одежду и доберусь до Гамбурга. Попробую найти судно, которое отправляется на Таити. Говорят, Таити – это земной рай, так что сами понимаете, никому не придет в голову искать Меня там. Кстати, с кем имею честь?

– Хаим, – представился я. – Хаим, еврейский комик, с улицы Налевской. Был довольно известен в Аушвице. Не знаю, в курсе ли Вы. . .

Лицо Его помрачнело. Жесткое у Него было лицо, суровое и очень красивое при всей его немножко примитивной грубости, – именно таким Его изображали на старовизантийских иконах, до того как Он попал в руки к итальянцам.

– В курсе, – промолвил Он, – и еще как в курсе. Неужто вы думаете, что Я не умею читать? Вот, между прочим, почему Я категорически отказался . попытаться еще раз их спасти. Бессмысленно это. Они никогда не переменятся. Единственное, что это даст, – еще несколько заказов для музеев.

Как всегда, Он был прав. Едва Он закончил говорить, я уловил чьи-то поспешные шаги, прерывистое дыхание в кустах. Он тоже услышал. Шаги приближались, со всех сторон доносился треск веток под ногами, лес Гайст ожил, и я было подумал, не полиция ли это, как вдруг ветви раздвинулись и я увидел угрюмые физиономии Микеланджело, Леонардо, Чимабуэ, Рафаэля и прочей шатии; у всех в руках кисти, а на рожах гнусные ухмылки. Он мгновенно вскочил, схватил камень и швырнул его в Чимабуэ, угодив тому прямо в нос. Микеланджело и Леонардо попытались укрыться среди толпы возбужденных итальянцев, но Он успел швырнуть еще несколько камней, да и я Ему помогал, как мог. Леонардо, получив камнем в глаз, верещал и превзошел себя в богохульствах; Микеланджело бросил кисти и

плясал на одной ноге, держась за другую; мы еще немного покидали в них, и они попрыгали в кустах, однако продолжали канючить: единственное, чего они просили у Него, – часок попозировать, на все прочее им плевать, но попозировать Он обязан, ведь это же ради культуры, Он просто не вправе отказаться. Но не на того напали. Они так много писали Его слабосильным, почти бесплотным, деликатным, женственным, исполненным покорности, что в конце концов уверились, будто Он и вправду такой, смиренный, как овечка. Что называется, пальцем в небо. Это настоящий мужчина. Достаточно посмотреть на Него, увидеть жесткое, суровое и мужественное лицо, увидеть, сколько непреклонности в Его глазах, чтобы понять, до какой степени религиозное искусство старалось приручить и одомашнить Его. Он обрушил на всю эту шатию поток проклятий, от которых затрепетал лес Гайст, непривычный к архаическим формулировкам. После чего метнул еще несколько камней, всякий раз с невероятной, прямо-таки чудесной меткостью попадая в цель, и задал стрекача. Я изо всех своих слабых сил старался не отставать от Него, но скоро выдохся – испытания, обрушившиеся на меня в этот день, дали себя знать, – в глазах у меня помутилось, голова пошла кругом; Он вернулся, подхватил меня, но я сказал Ему, чтобы Он оставил меня и сматывался; нельзя, чтобы нас видели вместе: если людям станет известно, что я помог Иисусу сбежать от них, до конца времен имя мое будет – Иуда.

## 40. В камуфляже

Сколько времени я оставался без чувств, как им удалось освободиться от меня и изгнать из своего сознания, где я так упорно отплясывал хору! Не знаю, не могу вам сказать. Во всяком случае, когда я открыл глаза, то чувствовал себя гораздо лучше. Я еще не забыл свои былые страхи, но сейчас они мне казались нелепыми, словно во время сна я таинственным образом изменился. Более того, мне было так хорошо, что я даже задумался, а не поработали ли надо мной, пока я был в отключке, заботливые руки какого-нибудь целителя. Я бодр, уверен в себе. На ногах стою крепко, взгляд зоркий. В голове только светлые, возвышенные мысли. Чувствую себя объектом крепкой дружбы и безмерной интеллектуальной поддержки. Ощущение, будто я духовно развился, преобразился, морально перевооружился. Монтень, Паскаль, ЮНЕСКО, Лига прав человека, Нобелевская премия двум еврейским писателям, всюду концерты, ежедневно по миллиону посетителей в наших музеях, вот о чем я думаю, вот о чем *надо* думать. Уф-ф. Что это со мной только что было? Легкий кратковременный кризис, небольшое ослабление морального духа. Сделаем глубокий вдох, и он больше не повторится: воздух леса Гайст чрезвычайно полезен, ибо здесь дышет подлинный Дух\*.

Значит, я встаю и сразу замечаю одну крайне любопытную деталь: у меня сперли одежду. И сейчас на мне форма, какую до сих пор я видел только на других; кажется, называется она *камуфляж*. Гм. Странно это, странно. Как это произошло? И что все это значит? Уж не Шатц ли напялил на меня эту форму, пока я спал? Боялся, что я замерзну?

Я сразу стал искать свою желтую звезду: ее сорвали с меня. К счастью, она валялась рядом на земле. Я поднял ее и приладил на место. Все в норме.

Я чуть-чуть раздвинул ветки и осторожно выглянул. И тотчас же понял: что-то готовится, знать бы только, что именно. Лес Гайст преобразился в подлинный исторический гобелен, озаренный дивным светом и лучащийся обетами. Цветы благоухают так, что никаких запахов больше и не чувствуешь. Трава растет прямо-таки наперегонки и скрывает все, чего не следует видеть, тысячи голубей работают на ощущение чудесного мира, лани, куда ни глянь, принимают умильные позы, руины располагаются самым выигрышным образом, а небо такое чистое, такое лазурное, что невольно возникает впечатление некой противоестественности. Повсюду неоклассицистские колоннады, на всех углах рога изобилия, лиры, а в воздухе витают лавровые венцы, готовые опуститься и повиснуть у вас на члене в момент апофеоза. Во всем тщательно сработанное искусство. Здорово пахнет государством, покровителем искусств, громадными заказами, великолепными академиями и той самой Большой Римской премией, *Всеобщей любовью*. Культурное излучение такое, что ни о каких изъятиях, ни о чем чужеродном тут и мысли не может возникнуть: миллионы детишек могли бы приползти сюда подышать с голоду, и это не потревожило бы ничьих глаз. Нет, это уже не сознание и даже не подсознание, это истинный Воображаемый музей, и мне казалось, я сейчас заплачу от наплыва чувств и от благодарности при мысли, что я допущен сюда. Никогда еще мои помыслы не были столь благородными, столь возвышенными. Неужели я, жалкий еврейский *диббук*, попал наконец в подсознание Бога, а то даже и самого Де Голля?

Я слышу торжественные фанфары, вижу на ветвях пухленьких ангелочков с чистенькими попками. Звучат небесные хоры, но вот подлинное чудо: они возносятся с земли. А голоса

---

\*Ср.: Дух дышет, где хочет. Инн. 3: 8.

такие чистые, такие кристальные, что у меня появилась надежда, что все люди наконец-то стали скопцами и теперь так изъявляют свою благодарность.

Может, Лили наконец-то познает наслаждение?

Пока я что-то не вижу ее. Но она несомненно в лесу Гайст, ведь именно здесь все происходит. Правда, я заметил, что в укромных уголках этого гобелена затаились легавые. Это хороший знак. Почетный караул.

Немного меня беспокоит небо. Никогда еще оно не было таким лучистым. Впечатление, будто оно стало ближе.

А Лили все нет. Куда она, черт бы ее побрал, подевалась? Может, отправилась в Индию или в Африку, но что женщине со столь высокими требованиями делать в слаборазвитых странах?

С небом же происходит что-то вообще небывалое и жутковатое. Кажется, оно стало еще ближе. С лазурностью уже покончено. Теперь его повело на пурпурность и лиловость, оно багровеет, пульсирует. Воздух достиг напряженной прозрачности, раскалился добела. Внезапно со всех сторон закружились тучи и понеслись, словно отплясывая небесный галоп. Потом цвет неба стал каким-то неопределенным, но взгляд угадывает в нем еще незримые медные и розовые тона, словно оно пребывает в сомнениях, колеблясь между закатом и восходом. Природа затаила дыхание, точно испытывая таинственную, необъяснимую робость.

– Хаим, с чего это на вас такая форма?

Я даже подскочил от неожиданности. Шатц. Я так углубился в изучение неба – никогда мне от этого не избавиться, – что не заметил, как он подошел. На нем точно такая же маскировочная форма, на голове каска, ремешок под подбородок.

– А вам какое дело? Я теперь американец и не обязан перед вами отчитываться.

– *Мазлтов*. В таком случае какого черта у вас такая физиономия?

– Да так, пустяки. Мы опять по ошибке разбомбили южновьетнамскую деревню. Есть убитые и раненые.

– Это у вас скоро пройдет, вы еще новичок.

– Да. И потом, каждый может ошибиться, как сказал еж, слезая с одежной щетки.

– Я ищу Лили. Вы тут ее не видели?

– Нет. Что-то там дерьмовато. Никаких следов Джоконды. Она должна быть здесь.

Я опять с некоторой растерянностью глянул на свое камуфляжное облачение; не знаю, как оно на мне оказалось, я к нему еще не привык и даже слышу тихонький внутренний голос, который верещит: «*Гвалт!*» – можете себе представить, я подцепил *диббука*, не то вьетнамского, не то арабского, не то негритянского, толком сам не знаю, так что с этим братством со мной случилось что-то, что порядочным ну никак назвать нельзя.

Над головой жуткий грохот, но это вовсе не то, чего я боялся, а всего лишь эскадрилья реактивных самолетов. Что они делают тут, над лесом Гайст?

– Тут что, вьетконги завелись? Что они делают здесь, это косоглазое отродье?

Шатц с симпатией посмотрел на меня:

– А вы делаете успехи. Не горюйте, скоро освоитесь. Увидите сами, ничего трудного тут нет.

Я уловил в его глазах скрытую насмешку, да и покровительственный его тон мне не понравился. Евреи – солдаты ничуть не хуже немцев, и я ему это докажу. В этот момент нас обстреляли, я бросился на землю, пополз, выглянул, и что же я вижу? Четверо косоглазых ублюдков поливают из автоматов парней из первой роты, лучшей моей роты! У, сучьи педы! Я хватаю гранату, срываю чеку и бросаю прямо в желтопузых. Результат – ни одного косоглазого, сплошная красная икра для муравьев. Вскликаю, отдаю приказ, надо разобраться

с очередной деревней, я иду первым, деревня умиротворена, я поздравляю парней, половина из них негры, поначалу, узнав, что командир у них еврей, они кривили рожи, но после трех, может, четырех деревень я заработал у них уважение, а у меня в части есть и мексиканцы, и пуэрториканцы; нет, что ни говори, война – это все-таки большое дело, ничто так не скрепляет братство.

Внезапно со страшным криком я просыпаюсь. Я лежу в камуфляже, в каске, с автоматом, а вокруг двадцать два трупа вьетконговцев – мужчины, женщины, дети. Видно, я чуток вздремнул после боя. На лице у меня ножка ребенка, я ее осторожно скидываю, зеваю во весь рот, чувствую, устал. И обнаруживаю, что, пока спал, я стал полковником и весь увешан наградами. И козел тут же. Язык набок, мокрый, как мышь, Джоконда его доконала. Весь дрожит, задница ходуном ходит, повернулся он к ней, но, едва увидел ее улыбку, душераздирающе замялся, попытался сигануть в кусты, да только от нее не смоешься, так что дернулся он в последний раз, хлопнулся наземь и откинул копыта. Прощай, козел. Последнее слово всегда принадлежит Культуре.

Тем не менее я доволен, что Джоконда тут. Нет более верного признака, что ты сражаешься за правое дело. Козла, конечно, жаль, но, кроме всего прочего, гражданские не моя забота, особенно те, которые сношают наших женщин, пока мы схватываемся в смертном бою с врагами. Я пнул козла, так ему и надо. Итак, подведем баланс. Одиндохлый козел, одна Джоконда, одна детская ножка – с этим я запросто могу получить неделю. Короче, все в порядке, за исключением одного: что я, Хаим с улицы Налевской, делаю здесь в компании с козлом, павшим на поле чести, детской конечностью и Джокондой с ее порноулыбкой? Особенно беспокоит меня детская нога. А вдруг это нога еврейского ребенка? Да нет, не может быть, это моя вечная мания преследования, достаточно одного взгляда, чтобы увидеть – нога желтая, так что я могу спать спокойно. В любом случае идет идеологический конфликт, и есть евреи, которые встали на сторону врага, ну так эти выродки, эти выблядки получают то, что заслужили.

Что-то немножко одиноко я себя тут чувствую. Куда подевался этот сучий потрох Шатц? Мне его не хватает. Честно говоря, я был бы рад, если бы он оказался рядом. Ну да, он курвино отродье, бывший нацист, но его военный опыт нельзя недооценивать, и сейчас он был бы мне крайне полезен. Это настоящий профессионал. Будь он рядом, я чувствовал бы себя уверенней.

Джоконда продолжает на меня пялиться со своей похабной улыбочкой. Нет уж, благодарствую, после козла? За кого она меня принимает? Пусть подкатится к кому-нибудь из моих негров, они себя долго просить не заставят.

Ну куда же он смылся, этот Шатц? Неужто он даст камраду пропасть? Нет, нет, не может такого быть, это было бы гнусно с его стороны.

У меня нет права усомниться в нем. Что ни говори, но немецкие солдаты знают, что такое братское чувство локтя. А Шатц не утратил чувства чести. Он придет и выручит меня.

А я уже совершенно без сил. Но я не позволю себе деморализоваться. Вьетконговцы только этого и добиваются – как бы деморализовать меня. Эти желтопузые сволочи знают, что не смогут победить нас в честном бою на равных, вот и стараются подорвать наш моральный дух.

И все-таки, куда делся этот Шатц? Вот-вот наступит ночь, и мысль, что придется провести ее здесь в полном одиночестве, меня ничуть не вдохновляет.

Я, наверно, был не слишком справедлив к Шатцу. Ему приказывали. А он был солдат, и приказ для него дело святое.

Чего бы я только не дал за то, чтобы он был здесь!

Впереди какое-то шевеление в сумраке. Сердце у меня подпрыгнуло и замолотило. Шатц? Как бы узнать? Надо насвистать что-нибудь такое, чтобы он понял: это я. Но что? Что-нибудь, чего не знают вьетконговцы, чтобы он понял: тут нет ловушки. Я просвистел первые такты песни «Хорст Вессель».

Ничего. Значит, это не он. Мне стало страшновато. Господи, ну сделай так, чтобы Шатц вернулся! Вьетконговцы небось ждут, когда настанет ночь, чтобы расправиться со мной.

А там, напротив, в развалинах дома опять какое-то шевеление. Может, гражданский, раненный, пытается выбраться? Но я не могу рисковать. Я сорвал чеку с гранаты и бросил туда. Распластался на земле, подождал. Ничего. Тишина. Больше не шевелится. С ним, значит, полный порядок.

Шатц проделал французскую кампанию, потом воевал на Восточном фронте в России. Награжден Железным крестом. Он отличный мужик.

Уверен, он не даст мне пропасть. Да, понятно, я – еврей, он – бывший наци, но это все прошлые дела, на них давно пора поставить крест. Надо уметь забывать.

Кстати, Шатц ничуть не злопамятный. После войны он завербовался в Иностраннный легион, служил Франции, французы его даже наградили. Уверен, я могу рассчитывать на него.

Ну вот, уже совсем ночь. Луны нет. Козел начал пованивать.

Тут явно должны шастать патрули вьетконговцев. Если они меня обнаружат, то отрежут яйца и забьют их мне в глотку. Шатц рассказывал, что когда алжирские повстанцы брали в плен легионера, то поступали с ним именно так. Должен признаться, я не люблю арабов. Шатц их столько поубивал.

Но где же он, в конце концов? Неужели он позволит мне погибнуть? Да нет же, конечно. Кто-кто, а я его знаю. Для него дружба – святое. Просто я немножко деморализован.

Когда война кончится, я приглашу его в Соединенные Штаты. У меня там семья. Я объясню, что он спас мне жизнь. Они устроят праздник в его честь.

Не могу больше. Закрываю глаза и начинаю молиться. Господи, сделай, чтобы Шатц вернулся!

Так, чувствую себя немножко лучше. Страшно хочется курить. Конечно, зажигалкой нельзя пользоваться, опасно, но если прикрыть ее каской... У меня в кармане была сигара. Я полез в карман. Нету. Видно, я ее выронил. Я стал шарить по земле. А, вот она. Поднимаю ее, подношу ко рту... Боже всесильный, да это же никакая не сигара. Это детская ручонка.

Я дико заорал и проснулся весь в холодном поту.

Я обвел вокруг себя ошалелым взором и еще больше ужаснулся, оттого что не испытал никакого облегчения, обнаружив, что не покидал леса Гайст.

Светло, солнце сияет. Горлицы, слышу, воркуют. Небо просто невыносимо ясное и прозрачное.

Я начисто забыл, куда попал. Этот хмырь такой гнусавец, а его подсознание – настоящее змеиное кубло. Ладно, хорошо, что хоть сейчас понял. Больше я там не останусь ни секунды.

Правда, я ни в чем не могу быть уверенным. Я даже не знаю, я это думаю или он это думает. Но в любом случае в одном я точно уверен – в моей желтой звезде. Она пока со мной. Так что говорить, что со мной покончено, рано.

Лили тут нет. Но меня это ничуть не удивляет. Эта дрянь, наверно, заскочила во Вьетнам. Насчет нее у меня уже нет никаких иллюзий.

Я даже не вполне уверен, что проснулся по-настоящему. Быть может, мне предстоит проснуться еще раз, и я даже знаю где: в Аушвице. Вот только не знаю, будет ли это немецкий Аушвиц.

Есть тут только один, кто вызывает у меня некоторую симпатию и жалость: козел. Мы с ним братья. Он не заслуживал этого.

## 41. Полковник Хаим

Никаких сомнений больше нет: это мои последние минуты. Вокруг меня уже ни следа десяти благочестивых евреев, но я-то знаю: им удалось изгнать меня. И у меня даже нет желания защищаться. Более того, я слышу, как внутри меня звучит гнусненький, издевательский голосок: «Хаим, ей-богу, не стоит. На сей раз они маху не дадут. Вообще, когда люди начинают всех подгонять под одну колодку, они редко терпят неудачу».

М-да, такого внутреннего голоса я не пожелал бы своим лучшим друзьям.

Не знаю пока, как это им удастся, но думаю, они сварганят из меня книгу, как всегда, когда хотят избавиться от чего-то, что им встало уже поперек горла.

Что же касается их братства, опять же у меня пока нет никакой определенности. Я не говорю «да», не говорю «нет», это дело надо обсудить, именно так. Если они думают, что я поймаюсь и брошусь покупать неведомо что, словно у меня вообще мозгов не осталось, то тут они здорово ошибаются. Сперва мне нужно пощупать руками, у меня впечатление, что товарец, который они пытаются мне всучить, гроша не стоит, цена завышенная, и я возьму это только в том случае, если смогу, не краснея, оставить своим детям и внукам.

Я присел на камень я понурил голову. Меня заставили позировать для памятника неизвестному комическому еврею, который поставят там, где когда-то было Варшавское гетто. У моих ног течет ручеек, чуть дальше срывающийся водопадиком, а деревья над моей головой словно бы спорят за каждый луч солнца, за каждую пташку. Они хотят, чтобы это наводило на мысли о Баярде, о Роланде в Ронсевальском ущелье. Они могли бы расположить в небе даже пару-другую орлов с распростертыми крыльями, и меня бы это ничуть не удивило. Вид у меня, должно быть, вдохновенный и благородный, тип семитский, но не слишком, не стоит чересчур задевать евреев. А на плечах я чувствую такую тяжесть, что не изумился бы, узнав, что для потомков меня облачили в доспехи. Кроме того, на колени мне положили сломанный меч. Какой меч? Уж не тот ли, которого они нам не дали, когда нас уничтожали? Ну, лучше поздно, чем никогда. Я не меняю позу, мне все равно, я слишком устал. Надеюсь, мне не приладят на голову нимб в лучших экуменических традициях. Все кругом антисемиты.

Ладно, хотите в профиль, валяйте в профиль. Только не пытайтесь облагородить мне нос, шайка вы подлецов!

Где звезда, где моя желтая звезда? А, вот она.

Что? Это еще не конец? Что еще вам от меня нужно? Выше голову? А на кой хрен выше голову? Могли бы и сами изукочечить как вам нужно, вам за это платят.

Да вот что еще, у меня был друг, не могли бы вы изобразить его рядом со мной? Черный козел. Как это, с какой стати? Он погиб, пытаюсь ублаготворить ее, сделать счастливой. Ну идеалист, идеалист. Ладно, ладно, как вам угодно.

Что, уже все? Вы уверены, что ничего не упустили? Позвольте-ка мне глянуть. И солонка, и велосипедный насос, и шесть пар хорошо надраенных башмаков? Ну да, реликвии. У потомков должны быть объекты культа.

Ну что ж, сойдет. По мне, в этом не хватает души, но нельзя же требовать невозможного.

Так, а теперь извольте показать, куда вы намерены меня установить. Я не соглашусь на что попало, у меня был миг взлета, и я удостоился минуты молчания, заплатил я достаточно дорого, шесть миллионов, так что имею право претендовать на самое лучшее место. Но предупреждаю, если вы попытаетесь меня сунуть вместо неизвестного солдата, я вам такое

устрою, что вы долго будете помнить. Нет, нет, рядом со Сталиным, *тьфу, тьфу, тьфу*, я не желаю. А вот возле шволежеров\* Жозефа Бонапарта, расстреливающих цивильных испанцев для «Ужасов войны» Гойи, будет совсем даже недурно. Смотри-ка, а я и не знал, что это здесь, я-то думал, что это составляет часть культурного наследия Франции. Скажите, а почему все эти герои без штанов? А-а, потому что они были убиты в процессе, в самый вершинный момент. Так, может, и мне? Не желаете, чтобы я тоже снял штаны? Разумеется, будет видно, ну и что из того? Ага, ага, я понял. Все кругом антисемиты.

---

\*Легкой кавалерии (*франц.*). Так называли польских уланов в составе наполеоновской армии, принимавших участие в военных действиях в Испании.

## 42. А если я откажусь?

А что, если я откажусь? Если отвечу «нет» их братству, всему этому их Воображаемому музею? Как-никак, они мне дали определенные обещания, дали честное слово, на протяжении двух тысячелетий не прекращали обзывать меня собакой, обезьяной, козлом; слово надо держать, они не имеют права вот так, с бухты-барахты, объявить мне, что я вовсе не собака, не обезьяна, не козел, что они мне ввали, что все это время уверяли меня, будто я не принадлежу к роду людскому, только для того, чтобы меня приободрить. Они выдвинули мне условия, я принял их, мы подписали кровью договор, и я долгие столетия лез из кожи, исполняя его, оставаясь на своем месте, в гетто. Никто так долго и такой дорогой ценой не платил за право не принадлежать к роду людскому. Я позволял, чтобы на меня плевали, чтобы меня убивали, осмеивали, но я сохранял свою честь, и в течение всех этих столетий мне удавалось ее спасти. Я был козлом, от меня воняло, я был бессердечным, бездушным, был недочеловеком, и чтобы теперь вот так сразу я отказался от своих привилегий, согласился стать одним из них только потому, что они нашли другого козла, черного или желтого, и решили скомпрометировать и меня, приняв в свой исторический гобелен, в свое рыцарство?

Я огляделся. Да, никаких сомнений, они теснятся, освобождая мне место. Маршалы Наполеона чуть попятнулись, крестonosцы подвинулись и знаками приглашают меня подняться, встать между Святым Людовиком и Роландом, победителем мавров, как в те времена называли арабов.

Нет, лучик света еще есть, он, как обычно, долетел из Франции: буквально только что один процент опрошенных сынов Жанны д'Арк одобрил уничтожение Гитлером шести миллионов жидов, сорок процентов назвали себя антисемитами, тридцать четыре заявили, что никогда бы не проголосовали за жида.

Я, можно сказать, ухватился за эту слабую надежду, похоже, для меня еще не все пропало.

Но тут весь гобелен озарился нежным сиянием. И на сей раз сияние это исходило не от принцессы из легенды, то был свет *прощения*, и источником его была мадонна с фресок. Ибо с самого верха гобелена, где возносится купол Святого Петра, раздался взволнованный голос, изрекший: «*Евреи неповинны, они не распинали Христа*».

Так что о сомнениях и колебаниях уже и речи быть не может.

### 43. «Шварце Шиксе» (бесконечное продолжение)

Шатц на своем командном пункте склонился над картами. Держа в руках компас, он ищет самую эффективную позицию. Он прав: нельзя продолжать лезть на нее как попало, надо отыскать что-то новенькое. Я вхожу в палатку, козыряю.

- Вы уверены, что она мне все простила?
- Все.
- Восстание в гетто?
- Уверяю вас, она и думать об этом забыла.
- «Протоколы сионских мудрецов»?
- Да это же очередная золотая легенда. Литературное произведение, не более того. Короче говоря, явление культуры.
- А нос? Уши?
- При нынешних-то успехах косметической хирургии о них и говорить не стоит.
- А Господа нашего Иисуса, мир праху Его?
- Он же не виноват, что был евреем.
- Гитлера?
- Ну не надо было бы вам это делать в Германии, мы от этого до сих пор страдаем, но ведь вас было ужасно много, вы не могли помешать себе в этом.
- Вы же знаете, мы занимались ростовщичеством.
- Не будем даже говорить об этом.
- Иногда мы спали с арийскими женщинами.
- Шлюхи есть шлюхи, что с них взять.
- Знаете, нас ведь обвиняли в том, что мы подмешиваем в мацу кровь христианских младенцев.
- Немцев тоже оклеветали. Вспомните, сколько клеветы было про Орадур, Лидицу, Трешлинку.
- Кстати, Маркс был евреем.
- предадим забвению.
- Правда? Вы мне все прощаете?
- Все.
- Честное слово? *Херем?*
- *Херем.*
- Даже Эйхмана?
- Прощаем и Эйхмана. Ему нужно было лучше прятаться. Хаим, вы сами видите, я без всякой задней мысли предлагаю вам стать всецело одним из нас. Государству Израиль я выражаю самые сердечные пожелания. Я хочу, чтобы он занял свое место в системе государств. . .
- В какой системе? Системы вроде этой я не. . .
- Германия предоставляет Израилю почетное место справа от себя.
- Справа? Ну нет. Предпочитаем слева.
- Слева, справа, какое это, в задницу, имеет значение? Вы хотите быть с нами или посылаете нас? *Полковник Хаим, давайте. . . Покажите нам это!*
- Ну уж нет! От такого предложения я взбеленился:

– Ничего я вам показывать не буду. Во-первых, это ничего не доказывает, в наше время большинство протестантов обрезанные!

– *Полковник Хаим!*

Я приуныл. Почувствовал, что позорю мундир. Ну не привык я еще, не привык. Враз, в один день не становятся полноправным человеком. Я снял штаны.

– Ступайте на поле чести, *полковник*, и чтоб там все ходуном ходило! Вы что, не видите, как она томится?

Я все еще колебался. Господи, как мало значит такая штука, как гений, когда имеешь дело с подобной мечтой о счастье и совершенстве!

– А нельзя ей подсунуть кого-нибудь другого? – несмело предложил я. – Хотя бы французов. Они всегда были склонны к этому, можно сказать, исторически. Пусть-ка они теперь, когда вновь обрели государственное величие, попробуют еще разок.

И тут я увидел барона и графа в камуфляже; они прокладывали дорогу через цветущую поляну, окруженные резвящимися музами и грациями, которые несли в каждой руке по «Страдивари», а за ними геральдические фигуры, такие гордые, такие реалистические, такие фигуративные, надменно попирающие абстракцию, следовали, обернувшись лицом к желтой опасности, что возрастает прямо на глазах, а она вся красная, колоссальная, вся на тысячу лет, вот что значит по-настоящему массы, боевой народ, мой легионер, и все это колышется, воеет, свистит, бурлит, разливается, держится за конец Мао Цзедуна во главе с маленькой красной книжечкой, что закрывает горизонт своим единственным раскосым глазом, китайцы пошли все, их семьсот миллионов, не считая сотен миллиардов потенциальных китайцев, которые имеются у них про запас, в резерве, но которые готовы в любой момент расползтись по гобелену.

– Боже правый! – возопил Шатц. – Китайцы ввязались! Они опередят нас, у них получится!

Я присмотрелся повнимательней. И у меня возникли большие сомнения.

– С обычными вооружениями ничего у них не выйдет, – бросил я.

Тут гобелен пересекла танковая колонна с джиай, сидящими на броне, все они были уже без штанов, выглядели решительно, хотя и несколько озадаченно, оттого что оказались здесь, в средоточии золотой легенды.

– Американцы! – обрадованно заорал Шатц. – У них ядерный меч! Наконец-то она будет удовлетворена! Американцы дадут ей счастье!

*Счастье-шмастье.* Ничего у американцев не получится. Слишком они пылкие, слишком торопливые, слишком нетерпеливые, все они помешаны на скорости, так что кончится у них *пшиком*; гений – это большое терпение, любой истинный любовник вам это скажет.

Шатц, так и не сняв каску, шарит по лесу Гайст биноклем.

– Поди ж ты, – бормочет он, – а я и не знал про такую позицию.

– Может, это марксистская, – робко предположил я.

Шатц смертельно бледен. Он опускает бинокль и вытирает вспотевший лоб.

– Да никакая она не марксистская, – слабым голосом возразил он. – Даже не знаю, что это такое. Хотите глянуть?

– Благодарю, нет, – отказался я. – Мне это все уже остохренело.

– Ну, эти китайцы, – бормочет Шатц, – они ни перед чем не отступают. И все-таки, чтобы так иметь ее, в груди должен пылать священный огонь. . .

Ему плохо, он вот-вот свалится с копыт. Я поддержал его.

– С такими возможностями они убеждены, что им удастся.

– Прошу прощения! – вознегодовал барон. – Прошу прощения! Это избранная натура! Поэтому я и принес своего «Страдивари»!

Я расхохотался.

– Заткнитесь, вы! – бросил ему Шатц. – А не то я национализирую ваше предприятие.

– Как это, предприятие! Это мерзко! Вы – сексуальный маньяк!

– Да нет же, нет, дорогой друг, – вмешался граф, успокаивая барона. – Он имеет в виду всего лишь ваше предприятие.

– Я никому не позволю даже пальцем дотронуться до моего предприятия! – заверещал барон. – Мое предприятие прекрасно работает! Небывалая производительность! Ведь я же твержу вам: это холодная женщина!

– Держитесь, дорогой друг, не уступайте. . .

– Благодарю вас, я держусь. Более того, я в отличной форме! И чтобы доказать это, я сам пойду к ней с моим «Страдивари»!

Я от неудержимого смеха уже чуть по земле не катаюсь.

– Что это вам так смешно? – возмутился барон. – Я ведь сказал вам, что это «Страдивари». Все, не могу больше. Шатц тоже хохочет, за живот держится.

– Ваше время, время дворянства, прошло, – бросил он барону. – Реставрации не будет.

– Нет, черт побери, всякому терпению есть предел! – взорвался барон. – Я не нуждаюсь в реставрации!

– Дорогой мой друг, вы потрясены. . .

– А ты заткни хайло! – рявкнул графу барон, ну прямо как вульгарный сын народа.

Я продолжаю ржать. И даже не пытаюсь защищаться. Если этот хмырь хочет вышвырнуть меня вместе со всем остальным в момент, когда я ржу до упаду, то я не против. В общем, чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь в одном. Погибать так с музыкой, и если мне суждено погибнуть, так пусть я умру от смеха.

Что эти китайцы вытворяют с нею! По всему лесу Гайст летят пух и перья, гобелен разодран в клочья, один обрывок угодил мне в глаз, это Микеланджело, мадонна Рафаэля шарахнула мне в физиономию, звучит рожок, это Бетховен, Запад в глухой обороне, отовсюду сбегается музыкальная молодежь, Де Голль не отступает, держит строй, а вот еще один Вермеер летит мне прямо в лицо, троих он на лету убил, да с десятков валяются ранеными, совершенно разнуздавшаяся солонка рвется вперед, конечно, в сравнении с историческими соотношениями Китая, ничего особенного, но тем не менее, согласитесь, для двух тысяч лет не так уж плохо.

Я схватил бинокль, смотрю, каковы китайцы в деле. М-да. Для такого древнего народа даже удивительно. Немножко торопятся, действуют количеством, массой. Попробовали бы лаской, она бы стала податливей, расслабилась. И потом немножко забавно, что они выбрали для строительства социализма именно такую позу – раком. Я вспомнил про своего друга козла, пусть земля ему будет пухом, это как раз для него. Он тоже любил именно так. Я даже немножко растрогался. Вообще это потрясающе, видеть новый Китай в деле. Стремительно, живо, наскоком. Но в то же время не слишком оригинально. Мы уже видели в такой позе Сталина, помню даже, как он спорил с козлом, кому первому. Нет, решительно ничего нового. Им бы надо было попробовать начать с ласковых слов.

– Ну что? Что? – Шатц просто вне себя от нетерпения. – Китайцы придумали что-нибудь новенькое?

– Нет, – мотнул я головой. – *In the baba*, как все.

– А. . . она?

– Ничего. Пропускает одного за другим.

Мне капельку грустно, но это момент истины, а в такие моменты какое уж там веселье.

– Пора бы уж дать ей то, чего она хочет.

– А чего она хочет?

– Умереть. Только об этом она и мечтает.

Шатц, похоже, приободрился.

– Смотри-ка, – говорит он. – Мы, немцы, всегда знали, что нам предстоит исполнить историческую миссию.

– Что такое? – вмешался барон. – Вы о Лили? О моей бедной Лили? Она самоотверженно ухаживала за прокаженными в Ламбарене и готовилась высадиться на Луну! И она... хочет умереть?

– У всего есть начало, – промолвил я с искренней надеждой.

– Лили, моя Лили, у которой было столько прекрасных планов! Она – и умереть?

– На другое она не согласна.

Шатц с изумлением смотрит на меня:

– Вы плачете? Действительно плачете? Это вы-то, Чингиз-Хаим!

Я бью себя кулаком в грудь. Я причитаю.

– Не обращайтесь внимания, – выдавил я между рыданиями. – Это древняя еврейская традиция. Мы неизменно плачем, когда человечество исчезает раз и навсегда.

– Быть не может! Вы, Чингиз-Хаим, циник... Может, вы оптимист?

– Прошу прощения. – Я рыдаю как белуга. – Я чудовищный пессимист, я верю, что она обязательно выпутается. И это разрывает мне сердце. *Ай-яй-яй-яй!*

Я рву на себе волосы, я вою, она опять выпутается, я не хочу видеть этого.

Шатц смотрит на нас просветленным взором. Лес Гайст в последний раз озарился всеми цветами надежды. Конечно, это еще не Гитлер, но как-никак это уже Германия.

– Смелей! Вперед! На нее! На нее, коллективно! На нее, братски! На нее, научно! Китайцы в авангарде, Запад во второй линии, и пусть каждый народ поляжет на поле чести, но не отступит!

Я попытался смяться.

– Хаим, вы что, не понимаете, вам предлагают братство, подлинное, неподдельное!

– Сколько вы с меня просите?

– Не могу точно сказать, надо прикинуть, триста миллионов в первые пятнадцать минут, и это будут самые лучшие! Ну не будете же вы в самом деле торговаться! Такое предложение! За братство это не цена.

– Не цена? Нет, нет, это слишком дорого.

– Все евреи одинаковые! Все, как один, сквалыги! *Полковник* Хаим, вам наконец-то позволили убивать и погибать на поле брани, а не уподобляться баранам, покорно идущим под нож, так не отказывайтесь от этой чести!

Я выпрямился. Меня переполняет безмерная гордость. Мужественность подкатывает к горлу, у меня перехватило дыхание. Я поднял голову, надменно вскинул подбородок, свет небесный коснулся моего чела, с уст моих невольно срывается древний клич наших священных крестовых походов:

– Монжуа Сен-Дени!

– Bravo, Хаим! Евреи с нами! Ступайте, геройски погибните вместе с остальными, вам позволено!

Со мной произошла метаморфоза, я преобразился, укоротился нос, исчезла губа Иуды, уши стали меньше и уже не топырятся, я поспешно начал читать *кадиш* по самому себе и проверил, где моя желтая звезда. Ее нет. Ну все. Это уже по-настоящему братство.

– *Гвалт! Гвалт!* Гетто, где гетто?

Ничего, никакого гетто, никакого люка канализации.

– *Гвалт!* Не хочу!

– Хаим! Вы же мужчина!

– *Мазлов!* Поздравления! – прогремел голос из горних высей.

– Вы мужчина!

– Нет! Все что угодно, только не это! Гитлер, где Гитлер? Ко мне! Гитлер, Геббельс, Штрайхер, ко мне!

– Мужчина!

– Нет! У меня собственная честь!

Но есть еще, есть у меня последняя надежда, крайняя уловка, лапсердак моего незабвенного наставника рабби Цура из Бялостока пока что не бросил меня.

– Нет, вы пытаетесь меня надуть, это еще не настоящее братство, кое-кого тут недостает. . .

Я так и застыл с разинутым ртом: все, хана, больше никакой надежды. Теперь уже полный комплект: к нам на всех парах несется огромный негритос в камуфляжной форме, с каской на голове. Он сжимает оружие, он негодует, возмущается, он разъярен:

– Подождите! А я? Я тоже имею право, как все!

Нашлось место и для него. Шатц стиснул ему руку, прикрепил свастику, негритос растроган. Сомнений больше никаких нет: это поистине конец расизма. Теперь негры могут быть антисемитами, евреи могут быть нацистами. Надеяться больше не на что, меня окончательно побратали. *Гвалт!*

Я перекрестился: умирать так с музыкой, посему проявим добрую волю.

## 44. In the baba

Потрясающее сияние, повсюду священный огонь, вниз по реке плывут два десятка мертвых и вконец разъяренных вьетнамцев, матери еще держат в руках младенцев, им осточертело сохранять позу, да что ж она делает, эта культура, уже нельзя лежать и разлагаться спокойно на месте в ожидании Гойи? Раненые вьетконговцы, которых поддерживают убитые джи-ай, бродят по Воображаемому музею в поисках свободного местечка, где можно было бы спрятаться. Гобелен озаряется новой вспышкой, но на окровавленных вьетконговцев это не производит никакого впечатления, тут важен цвет, а вот красного, по правде сказать, на лбу мадонны с фресок и принцессы из легенды не хватает. Гениальность катит девятым валом, первые данные заливают все своей белизной, здорово пахивает абсолютом, крахмалом. О, вот и победное сообщение: федеральный комитет ученых, созданный президентом Джонсоном, объявил, что произведенные к настоящему времени ядерные испытания общим эквивалентом шестьсот мегатонн окажут крайне опасное воздействие на шестнадцать миллионов детей и вызовут у них заболевания мозга. *Мазлтов!* Шестнадцать миллионов дефективных детишек, это означает еще шестнадцать миллионов гениев, и среди такого изобилия обязательно найдется новый Оппенгеймер, новый Теллер, а то, того и гляди, и какой-нибудь Мессия. Происходят трогательнейшие сцены: девчужка с явными признаками кретинизма говорит, что у нее одна мечта: ходить в школу, как все. Культурное достояние разбухает, вздымается к новым вершинам, семьсот миллионов косоглазых сперматозоидов, вооруженных до зубов, свирепо преследуют лейку с погнутым носиком и шесть пар почти новых туфель. Первые данные несутся потоком, все заливая своей очевидностью. Я и не знал, что даже у желтых цвет опасности белый. Места в Воображаемом музее так вздорозжали, что начали отказывать даже трупам. Улыбка Джоконды неизменно проглатывает все. Я поискал платок, постыдились бы, мадам, вот возьмите, вытрите хотя бы губы. Я было удивился, увидев внутри Се Человека, но нет, все нормально, это, оказывается, мифологическое произведение. Возвел глаза к небу: оттуда ничего, должно быть, Он попробовал порошок из рога носорога. В конце концов, немножко терпения, геронтология продвигается семимильными шагами. . . Голову держу высоко, иначе не получается: кхмерское искусство прибывает, дошло уже до подбородка. Прометей, прикованный, высящийся на своей скале над волнами, ржет как сумасшедший: враки это все, будто он собирался украсть священный огонь, он всего лишь хотел послать его в задницу. Из канализационных люков так и хлещет: ох, здорово воняет государством, покровителем искусств, и неслыханными заказами; гении выстраиваются в очередь, лопатой гребут материал, надо успеть к Биеннале. Повсюду торжество абстрактного искусства: напалм так благотворно воздействует на все, что уже не разобрать, где глаз, где рука, где грудь, это воистину конец фигуративности.

Одним словом, делается все, что необходимо, хотя нет, она так и не испытала наслаждения. Остается одна надежда: может быть, Германия обретет ядерный меч. Только что из этого получится – ну, очередная Пьета, ну хорошо, несколько.

Я же надеюсь, что Иисус надежно укрылся, Его не выследили и не сцапали на Таити. Лишь бы Он не занялся там живописью, как Гоген, только этого нам не хватало.

Если честно, я не слишком верю и в германскую мужественность. Разумеется, она поднимает голову, но National Partei Deutschland, несмотря на кое-какие многообещающие трепыхания в Гессене и Баварии, предложить ей не может ничего. Большинству ее членов далеко за сорок пять, к тому же вследствие двадцати пяти лет демократии они все изрядно одрябли.

Мне вдруг пришла страшная мысль. А что, если Германия увильнет от нацизма? Нет в мире справедливости.

Я пытаюсь плыть против течения, но неодолимый поток увлекает меня, первородный Океан несет меня вперед, впрочем, я не слишком-то и рвусь добраться до Истока, такого Истока я не пожелал бы своим лучшим друзьям.

Я лег на спину, чтобы уберечь хотя бы лицо; барон плывет рядом, вцепившись в «Страдивари», граф не отстает от него, поддерживает недрогнувшей рукой, псы остаются верными, все так же подают лапу, я растроган до слез, дело вроде бы обычное, но результаты могут оказаться безмерно важными, возможно, когда-нибудь на этом удастся построить цивилизацию. Кстати, есть там один дворняга с добрыми глазами, быть может, он-то и будет тем самым. . .

Откуда-то издалека, с безмерной высоты до меня доносится смешок и негромкий, но сладостный голос, я его сразу узнал.

– И все это они делают для меня?

– Конечно же, дорогая. Они отдают тебе все, что имеют.

– Как это прекрасно, как возвышенно! Сколько в них вдохновения!

– Дорогая, ты так вдохновляюще действуешь на них. Они действительно отдают тебе все лучшее, что в них есть.

– Какая милая собачка!

– Идем, дорогая, идем. Нельзя иметь все.

– Флориан, а кто вон тот господин?

– Какой? Ах, этот. . . Он вовсе не господин. Просто писатель. Он пытается забыть тебя, дорогая. Он тебя любит.

– Да? Но если он меня любит. . .

– Нет, нет, дорогая, я же тебе говорю, это писатель. Он способен дать тебе только литературу, очередную книгу.

– А что он делает в канализационном колодце?

– Ищет вдохновения.

– Зачем он приехал в Варшавское гетто?

– Забыть, дорогая. Он обязательно напишет книгу, это их манера избавляться от того, что им мешает.

– А он милый.

– Дорогая, но я же сказал тебе, что он писатель. Они все всегда кончают книгой.

– А вон тот?

– А это Хаим, Чингиз-Хаим. Но ты уже имела с ним дело две тысячи лет назад.

– Почему он плывет против течения?

– Он еврей, дорогая. Идеалист. Они все настоящие циники.

– Да, но почему он плывет против течения? Это не очень прилично.

– Им всем присущ дух противоречия, это общеизвестно. И потом, он еврей, а им неведомо христианское смирение.

– Он, кажется, что-то кричит?

– *In the baba*. Это на идише, дорогая.

– А что это значит?

– На идише это означает «братство».

– Вид у него очень недовольный.

– Дорогая, он просто не привык. Он впервые носит меч. Это его первый крестовый поход.

– Как это все прекрасно, какая необузданность, какая властность!

– Это все идет от истоков, дорогая. В этом весь их гений. Погоди, у тебя на веке пылинка. . . Позволь, я ее уберу. Вот так. Любовь моя, ты должна быть чиста, незапятнанна. По причине своего происхождения они превыше всего чтят чистоту и стремятся к ней.

– Флориан, у меня появилась надежда. Я и вправду уверена, что на этот раз. . .

– Разумеется, дорогая. Вспомни ту женщину, которая могла только при восточном ветре, дующем со скоростью сто километров в час, и крошку француженку, что испытывала страсть лишь под солнцем Аустерлица, и ту, которой надо было сперва слопать пять килограммов рахат-лукума, и несчастную, способную расслабиться и изведать блаженство только в присутствии составляющего протокол полицейского. Непостижимы бездны человеческой души. Все они теперь с легкостью получают наслаждение и вполне довольны жизнью. Тебе же нужны в определенном смысле особые условия, и эти люди сейчас их и создают. В любом случае это окажет благоприятное воздействие на художественное творчество. Этим обычно все и кончается. А ты станешь еще прекрасней, чем была. Культура крайне благотворна для тебя, она защищает тебя со всех сторон, за исключением тех случаев, когда доставляет неудобства.

– Флориан, боюсь, я разволнуюсь.

– Вот и хорошо, дорогая, волнение и вообще чувства подготавливают. Без этого просто невозможно.

– Ты ведь им поможешь, да?

– Разумеется, дорогая. Ты же знаешь, в конце я всегда оказываю им помощь. Впрочем, они сами прекрасно с этим справляются, помогают друг другу.

Больше я ничего не слышал, ах, нет, немножечко Моцарта; а вот и колючая проволока, не волнуйтесь, хватит на всех, я исхожу кровью, и это сразу притянуло их, они так и зароились вокруг меня – Фра Анжелико, Мантенья, Тициан, эти ребята похуже акул будут; кто-то заорал: «Смерть предателям!» – правда, не уточняя, кого он имеет в виду, видимо, с мыслями о будущих союзниках, кругом верховенствует братство, черные стреляют в черных, какой-то араб схватил меня за горло, я его тоже, он укусил меня за нос, я откусил ему ухо, а со всех сторон новые потоки, гляжу, рядышком плывет Шатц и поддерживает нескольких евреев, чтобы обеспечить будущее, а там вон проплывает моя желтая звезда, я попытался схватить ее, уцепиться за нее в этом жидком дерьме, ан нет, она ускользнула от меня, и как я ни умолял ее вернуться, она только хвостиком вильнула, видно, тоже стала антисемиткой, но ничего не поделаешь, братство есть братство. Э, а это что такое? Никак радуга? Да нет, не радуга, улыбка старика *хасида*, которого смеющиеся немецкие солдаты таскают за бороду, обратясь к потомкам; видать, она стала бессмертной, эта улыбка, вот так достигают в конце концов вечности. Увидев ее, Шатц проорал давний нацистский условный сигнал: «Ничто человеческое мне не чуждо!» – и пошел ко дну, к самым истокам рода людского, дабы окончательно и бесповоротно слиться с ним. А я услышал капризный голосок, произнесший:

– Флориан, все-таки тут кое-чего не хватает.

– Чего, дорогая?

– Великого поэта. Ты же знаешь, Флориан, я без этого не могу.

– Сыщется, обязательно сыщется, в такой куче всегда окажется хотя бы один. Так что успокойся. «Блажен, кто пал на праведной войне, блаженны сжатые серпом колосья. . .»\* Помнишь?

– Да, он был милый. . .

Новый прилив любви подхватил меня, высоко вознес, к почетным местам, ну что ж, раз

---

\*Строки из поэмы «Ева» (1913) французского поэта Шарля Пеги (1873-1914), погибшего в сражении на Марне.

иначе нельзя, я не против, готов постоять там рядом с другими, братство, оно братство и есть, только я не согласен на черт знает кого, на всякую шваль, я готов, но рядом с Моисеем, рядом с Авраамом, рядом с Давидом, рядом с Вейцманом, но с *гоями* даже не пробуйте, решительно отказываюсь. Они хотели бы, чтобы я был с ними, да только я знаю, они антисемиты куда больше, чем можно вообразить.

А это что?..

Чудовищный реализм, отвратительный натурализм вдруг захватил наши святые места. *Арахмонес!* Это невозможно, я думал, что они запретные. Хорошо, хорошо, согласен, это существует, но ведь можно прилично, красиво, чисто, изящно, но не так же! И вы хотите, чтобы благомыслящий и прекрасно устроенный в жизни человек в подобных обстоятельствах отдал самое лучшее, что есть у него? Могла бы она в промежутке между клиентами хотя бы приодеться, подкраситься, но нет, клиенты валом валят без передышки, да, да, это называется ускорение Истории, и тем не менее обнаженные тела, что один за другим сменяются на ней, Флориан, работающий не разгибая спины, – все это здорово начинает смахивать на Бухенвальд, на скотобойню.

– Лили, моя Лили! – стенает барон, вцепившись в «Страдивари». – Она в подобном заведении!..

– Крепитесь, друг мой! – блеет граф. – Не смотрите! Укройте в абстрактное искусство! Впрочем, кто вам сказал, что это она? Ее же нельзя разглядеть.

Да, ее и впрямь не видно под навалившимися на нее телами, кроме руки, которая жалостно вылезла из-под этой груды и бессильно машет Джоконде, пытаясь нас ободрить, уверить, что нравственность – это хорошо.

Барон цепляется за графа, граф за барона, «Страдивари» разломился пополам, почтальон разнес почту, солонка тщетно ищет рану, чтобы посыпать ее солью, велосипедист добрался до финиша.

И вот тут-то мне вспомнился совет моего добрейшего наставника рабби Цура из Бялостока, и я решил спасти ее.

– Закройте глаза! – приказал я всем. – Смотрите сердцем! На нее нужно смотреть сердцем! Закройте глаза, и только тогда вы сможете увидеть ее такой, какая она в действительности! Закройте же глаза, откройте сердца. . . Ах, как она прекрасна!

– Ах, как она прекрасна! – зажмуря глаза, в экстазе возопил барон.

– Ах, как она чиста! – проблеял граф, с величайшим искусством закрывая глаза.

– А теперь все вместе! Закрыв глаза! Ах, как она прекрасна! Ах, как все прекрасно!

– Ах, как она прекрасна!

– Ах, как все прекрасно!

– Ах, как это волнующе!

– Дорогой легионер. . .

– *ТЬфу, тьфу, тьфу*, кто-то не закрыл глаза! А ну-ка еще раз! Вдохните поглубже, так будет надежней! Ах, как она прекрасна! Ах, как это прекрасно!

– Ах, как она прекрасна!

– Ах, как это прекрасно!

– *In the baba!*

– *ТЬфу, тьфу, тьфу!* Среди нас саботажник!

Я улыбаюсь, прикрыв глаза. Уверен, этот сукин сын Хаим подозревает о моем существовании. Он уже давно смекнул, куда попал, исследовал каждый уголок моего сознания, и даже, *тьфу, тьфу, тьфу*, тот самый темный закоулок, откуда я намерен в конце концов изгнать его.

Он не должен обосноваться в нем. Вечный Жид, скиталец, не имеет права нигде чувствовать себя дома.

Однако он борется, последние отчаянные усилия, но я использую все свое искусство, все свои профессиональные навыки, и он, не открывая глаз, все-таки переворачивается на спину рядышком с почтальоном, который не приносит послание надежды, велосипедистом, выигравшим гонку, шестью парами полуботинок, свободных от чьих бы то ни было ног, солонкой без единой крупички соли, воскресшим и, между прочим, бессмертным козлом, желтой звездой, что стала антисемиткой, и испускающей дух Культурой.

– Здесь полно отвратительной грязи, которая пытается нас внутренне опустошить! – рычит Хаим. – Он старается деморализовать нас! Откроем сердца и зажмурим глаза! Ах, как она прекрасна!

– Ах, как она прекрасна!

– Еще раз, чтобы этот сучий потрох видел! Ах, как она прекрасна! Ах, как это прекрасно!

– Ах, как она прекрасна! Ах, как это прекрасно!

– *In the baba*, Хаим! – кричу я ему. – *Мазлов!*

Он грозит мне кулаком и орет:

– Грязный жид! Антисемит!

– Прощай, капитохас!

– Еще раз назовешь меня капитохасом, я тебе такое устрою!

– Не забывай свой крест, а то ведь простудишься!

Он опять грозит кулаком:

– Я еще вернусь! Мы еще встретимся!

Его голос еле доносится до меня. И теперь, когда я едва его вижу, мне начинает не доставать его.

– Куда ты отправляешься?

– На Таити! – кричит он. – Вроде бы Таити – это земной рай, так что первым делом надо помочь таитянам выбраться из него, а потом, никому в голову не придет искать меня там. Земной рай, он *до* моего времени!

– Хаим! Главное, на этот раз ни во что не впутывайтесь! Не пытайтесь их спасти!

Он взбешен до такой степени, что я вполне отчетливо слышу:

– С этим покончено! Я поумнел! И первому, кто скажет мне про гума. . .

Больше ничего не слышно. Да я уже и не вижу его. Он покинул меня. Мне остается только Лили, а избавиться от столь знатной дамы куда трудней, чем от какого-то бродяги. Даже тут, у люка канализационного колодца, в бывшем Варшавском гетто, куда я приехал в поисках его и где открыл его истинное лицо, принцесса из легенды подобна королеве, которая посетила своих несчастных и умерших и теперь собирается усесться в карету и спокойно вернуться к себе, в свой Воображаемый музей. Глаза у меня все еще закрыты, и я вижу ее просветленной, как мадонна с фресок, и притом примерно добродетельной. О, как она прекрасна! Я так ее люблю, что все мои попытки изгнать ее из себя будут тщетны. Очевидное не имеет значения, доказательства рассыпаются, обвинения предстают клеветой. Она грациозно наклоняет голову, любезным жестом отвечает на отчаянные предсмертные вопли, гладит по головкам своих крошек-пажей, маленьких расстрелянных еврейчиков, что вышли из жерла канализационного колодца, чтобы нести ее шлейф и помочь пройти по гетто и возвратиться в легенду – незапятнанной, без единой грязинки из тех мест, которые она почтила своим присутствием.

– Кто этот господин, Флориан? Тот, что лежит с закрытыми глазами на улице, окруженный толпой, и улыбается?

– Понимаешь, дорогая, это не господин. Это писатель.

– Почему же он закрыл глаза?

– Чтобы лучше видеть тебя, дорогая. Лучше всего они видят тебя сердцем. Именно когда они не могут видеть тебя, ты предстаешь перед ними во всей своей красоте, то есть такая, какая ты в действительности. И это дает им возможность восхищаться тобой как надлежит. Гуманисты и идеалисты отчетливо видят только то, чего они не могут видеть. Это циники. Ты счастлива, дорогая? Ты только посмотри, что они тебе дали!

– Ну как ты не понимаешь, Флориан? Это было слишком поспешно. С ними всегда все в спешке, торопливо. Я даже не успела взволноваться.

– Ну что ж, дорогая, придется продолжать. Настанет новая весна.

– Ты знаешь, я уже не верю. Флориан. . .

– Да, дорогая.

– Мне правда очень хочется умереть.

– Не стоит, дорогая, торопиться. Поглядим, что будет дальше. Мы же не исчерпали еще всех их возможностей. Не будем отступать. Вспомни, что сказала великая императрица Мессалина. «Чтобы начать, вовсе не обязательно надеяться, и вовсе не обязательно добиться успеха, чтобы не отступать». И Бог свидетель, святая эта женщина знала, что говорила. Нам пора, дорогая. Уже поздно. А нам предстоит дорога.

– Посмотри, Флориан. Какой-то господин все время следует за нами.

Я тоже увидел его. Нет, он неисправим! Я счастлив, что и на этот раз он выкрутился. Мне хочется встать, пойти ему навстречу, помочь, но у меня нет сил, я даже не знаю, сколько времени я лежу тут, у подножия памятника ему посреди площади, где когда-то было Варшавское гетто, в котором он родился. Я слышу голоса, кто-то держит меня за руку, конечно, жена, у нее такая детская рука.

– Расступитесь, дайте ему дышать. . .

– Явно это сердце. . .

– Ой, он уже приходит в себя, он улыбается. . . Сейчас он откроет глаза. . .

– Наверно, у него кто-то погиб в гетто. . .

– Пани, а что ваш муж. . . Ну, он. . .

– Я умоляла его не возвращаться сюда. . .

– Он кого-то потерял в гетто?

– Да.

– Кого?

– Весь мир.

– Как это – весь мир?

– Мамочка, а этот пан, которому стало плохо, кто он?

– Это не пан, деточка, это писатель. . .

– Прошу вас, расступитесь. . .

– Пани, вы полагаете, что в результате этого опыта он подарит нам книгу о. . .

– Please, Romain, for Christ's sake, don't say things like that. . .\*

– Он что-то пробормотал. . .

– Kurwa mac!\*\*

– Romain, please!

– А мы и не знали, что ваш муж говорит на языке Мицкевича. . .

\*Прошу тебя, Ромен, ради Христа, не говори подобных вещей (англ.).

\*\*Грубое польское ругательство.

- Он получил классическое образование здесь, в гетто.
- А! Мы не знали, что он еврей. . .
- Он не еврей.

Я слышу их, распознаю голоса. Через секунду я открою глаза и больше никогда его не увижу. Но пока что вижу совершенно отчетливо: вот он передо мной, на том самом месте, где совсем недавно были только кровь, мгла, дым. Бедняга Хаим, он не слишком хорошо выглядит. У него опять были *цорес*, он чудовищно изможден, весь в ранах, под глазом фонарь, они уже успели напялить на него венец, и вид у него совершенно одуревший в этом терновом венце, который он даже не пытается больше срывать, но тем не менее он, как всегда, здесь, *мазлов!* Неуничтожимый, бессмертный Хаим, он согнулся, но держится на ногах и все так же упрямо сопровождает Лили, влача на спине свой огромный Крест.

- Флориан, смотри, какой-то господин следует за нами.

Флориан обернулся, бросил на него рассеянный взгляд.

- Это всего лишь твой еврей, дорогая. Все тот же. Этому пройдохе опять удалось вывернуться. Но тут уж я бессилён. Он вечен. Идем, дорогая. Он безвреден и никому не мешает.

*Варшава, 1966*